

# КОРИДОРЫ СМЕРТИ

*Историко-фантастическая хроника*

Это повествование построено и на доступных автору документах, и на опубликованных материалах, и на собственных воспоминаниях, и на рассказах очевидцев, и частично на ходивших в ту пору и впоследствии разговорах. Описанное в хронике — было или — могло быть. Домысел автора — в рамках и пределах допустимого законами литературы.

Главное фантастическое допущение: Сталин завершил жизнь не 5 марта 1953 года, как официально оповещено, а немного позже; один из вариантов заглавия хроники был: «Сталин умер завтра». Используя этот прием, автор и строит повествование, особенно в ключительных главах, ибо события, составляющие ядро и суть произведения, были действительно запланированы и, вероятнее всего, осуществились бы, не помешай тому кончина Вождя.

Основные исторические фигуры реальны. Те, кому предстояло быть исполнителями, — обозначены условно, по роду занятий. Фамилии жертв — из уважения к их страданиям и памяти — изменены. В хронику введена семья, имеющая реальный прототип. Некоторые статисты кровавого спектакля оставлены анонимными.

## ЭПИЛОГ

### I

Берию вели на расстрел.

Он шел по бесконечным, гулким, то прямым, то изломанным коридорам, пронзительно освещенным голыми, жесткими лампами. Резкие тени скользили впереди, отставали, двоились. Порой капитан справа наступал сапогами на его, Берии, тень, и Берия чуть отклонялся, оберегая свой распластанный на полу силуэт от ненавистного сапога. Тогда офицер слева коротко дергал головой — приходилось шагать прямо.

Направляющим конвоировал майор, и еще один топал позади, Берия чувствовал его дыхание и слышал размеренную поступь всех четверых. Собственных шагов не различал, хотя звуки громко взлетали под низкие своды.

Ему не требовалось глядеть, куда поворачивает направляющий. Берия слишком хорошо знал подземелья Лубянки, он знал каждый изгиб и любое спрямление коридоров, бесчисленные переходы, лесенки, пороги. Знал и ниши, куда полагалось — лицом к стене — втискиваться заключенному, если навстречу вели другого. От конвойных требовалось непрерывно прищелкивать языком или постукивать ключами о пряжку, предупреждая встречных, такой порядок придумали, кажется, еще при Николае Втором. Но сейчас офицеры не соблюдали этого правила: заведомо никто не мог оказаться на их пути.

Берию вели на расстрел.

Он понимал: никакое чудо не спасет его.

Он слишком хорошо знал, как приговоренные до последнего мгновения надеются на чудо, и привык с насмешкою думать об их надеждах. Человек ума трезвого, холодного и расчетливого, Берия не тешил себя иллюзиями: через несколько минут его шлепнут.

Время, совсем недавнее, до предела заполнялось работой — так он обозначал жестокое, нечеловеческое дело, коему отдал много лет кровавой, нечеловеческой жизни. Однако же удавалось выкроить время и на чтение. Из книг о прошлом, из записей подслушанных разговоров в камерах смертников Берия знал: перед казнью почти все думают и говорят о женах, о детях, о родителях, пишут им письма, остающиеся неотправленными в тюремных канцеляриях.

Берия думал не о том, семьи у него как бы не существовало.

То есть, конечно, она была, но Берия давно почти не встречался с женою и взрослым сыном, проводя ночи в угрюмом, крикливо обставленном особняке, где стол всегда ожидал его накрытым, постель — приготовленной, женщины — пронизанными то еле скрываемым страхом, то извращенным любопытством, то затаенным, однако очевидным отвращением, а порой и нетерпеливым желанием.

Берия думал в последние минуты не о семье. Он думал — о Сталине.

Думал с привычной ненавистью к человеку, возрожденному теперь на самое священное, как твердила пропаганда, место. Берия знал — он знал все высшие тайны, — недолго тому, набальзамированному, возлежать в хрустальном саркофаге Мавзолея, но и это не смиряло ненависть к мертвому. Берия так и обозначил его сейчас — мертвец. Себя он еще числил в живых.

Ненависть к Сталину была едва ли не изначальной, с двадцать первого года, когда они познакомились, — Берия понимал и сознавал причины ее.

Сам из породы отъявленных честолюбцев, Берия числил Сталина самым одержимым из властолюбивых маньяков. Даже фамилия, придуманная им, была претенциозна и многозначительна, Берия ненавидел ее звук и начертание.

Берия ненавидел Сталина за то, что повиновался ему и раболепствовал перед ним. И за то, что считал чистоплюем: Сталин лишь подписывал приговоры, притом не все, но сам не допрашивал, не избивал, не расстреливал, как делал это Берия, даже не присутствовал на казнях, как присутствовал часто Берия, находя в том хоть малое утоление жажды властвовать беспределно, видеть людей беспомощными, жалкими, растоптанными,

уже мертвыми раньше, чем наступала мгновенная смерть.

Ненавидел он и потому, что был тот — по крайней мере, до последних лет — умнее и хитрей, в этом нельзя было отказать своему врагу, коего приходилось называть другом, служа ему верой и правдой, чтобы уцелеть и после его смерти занять его место.

Он по-рысьи ненавидел Сталина за спокойствие, за уверенность, пускай внешние только, пускай выработанные, — за качества, так недоступные самому Берии, всегда нервически возбужденному, хотя он и пытался прикрыть это маскою самообладания.

Словом, Берия ненавидел Сталина — и сейчас, в последние минуты, мог думать лишь о нем, уже несуществующем.

Гибель других вовсе не волновала Берию, он привык и смертям не придавал значения, как не задумывается никто над комаром, прихлопнутым ладонью. Сталина же Берия ненавидел и конца его ждал с нетерпением, хотя ускорить боялся или — не мог.

Быть может, именно это — невозможность отправить на тот свет ненавистного — более всего терзало Берию, который был почти всемогущ. Истинно же всемогущим был только Он, а власть Берии перед Его властью была игрушкой — так, по крайней мере, казалось Берии.

Он помнил, какой сдавленный смешок едва не вырвался у него из горла, когда новый помощник Сталина (преданного ему Поскребышева вождь недавно прогнал — всюду мерещилась измена) позвонил из Кунцева и сказал: немедленно приезжайте. И тихо прибавил, что — беда... Берия торопился, его как бы приподнимала радость, его переполнял восторг, неохватный и сладостный, как и ненависть: все, конец, умирает, умрет, сохнет, и теперь пойдет так, как планировал он, Лаврентий Берия.

Он мчался в Кунцево, мчался, чтобы опередить других верных соратников, чтобы раньше, нежели явятся они, вынудить Сталина, почти наверняка беспомощного, если еще жив, произнести при них так необходимые Берии слова завещания.

Мелькали площади, улицы, перекрестки, фасады, брандмауэры, и виделись Берии собственные бесчисленные портреты и транспаранты с его, Берии, именем. Он видел себя на трибуне Мавзолея — одного, без свиты,

теперь спокойного, уверенного — и слышал как бы извне собственную речь. Составлена речь была давно, Берия называл ее тронной, и в том была правда, потому что именно самодержцем видел он себя, властным, не скованным даже формальными рамками демократии.

В недоступном, тщательно скрытом сейфе покоились загодя подписанные документы — новое правительство, марионеточное, безгласное; впрочем, разве бывают правительства, не безропотные перед Диктатором? И состав руководителей партии. Берия не собирался разогнать партию — зачем, пускай себе значится, пускай тешатся дураки... Робкие, безмолвные, безликие значились в его списках. Те, кто не был трусом и жополизом, состояли в других реестрах, в реестрах обреченных.

«Котятя, слепые вы котятя, как вы без меня?» — сказал однажды Сталин. И чуть ли не впервые Берия согласился искренне: да, котятя. Болтуны. Словоблуды. Незадачливые заговорщики, способные лишь в дачных перелесках шушукаться о свержении Хозяина... Дерьмо. Он их мигом раздавит, он, Берия, и сумеет — уже по-смертно — очернить в глазах людей, этих самых людешек, возвышенно именуемых народом. Он даст им хлеб — накупит за океаном. Он даст им зрелища — какие угодно: голые бабы на сценах, блуд на киноэкранах, кабаки, бардаки, факельные шествия, мордобой на цирковых аренах, бесплатный футбол, дешевая водка. Он внушит, что политика его подлинно демократична, и не Диктатором, а благодетелем предстанет он перед безмозглой, доверчивой толпой.

Черный «кадиллак», мощно бронированный изнутри, сопровождаемый двумя такими же, неотличимыми, летел по Москве зеленой улицей. Берия торопил шофера-подполковника, тыча в бок, словно извозчика.

И все-таки опоздал. У постели скорбно восседали они, верные соратники. Сталин лежал — белый, рыхлый, с резко заметными оспинами, грудь не дышала, глаза неплотно прикрыты...

А через несколько дней Берия стоял на трибуне Мавзолея — пока еще не в горделивом одиночестве, а рядышком с теми, кого именовал друзьями, глядел на гроб, поставленный у подножия, на человека, ненавистного и грозного даже сейчас. Молотов плакал — может, искренне, а возможно, актерскими слезами, думал Берия, не веря никому. Погодите, скоро вы еще не так поплачете у меня...

Время, казалось, настало, верные войска МВД стягивались к Москве, ждали приказа на окраинах. Операцию он сам продумал до мелочей. Слепые щенки даже не подозревали, что завтра будут покойниками. А если и подозревали — не все ли равно, так и так близок их смертный час.

Берия видел, суетливо расхаживая, стволы орудий, наведенные на Кремль; башни танков, повернутые туда, где заседал Президиум ЦК — организация, что завтра станет наполовину мертвой, наполовину бессильной; видел торжественный марш войск в чекистских погонах; слышал радостные клики толпы...

Он видел, как трусливо сожмутся они, верные соратники, послушно взденут руки, голосуя за вверение верховной власти ему, Лаврентию Берии, как польются верноподданнические речи — у них немалый опыт словоблудия, и тексты не потребуются заново сочинять, достаточно переменить имя Вождя...

Они перехитрили... Позвонили, пригласили на очередной Президиум и там, едва вошел, из-за тяжелой створки двери, открываемой внутрь, вывернулся кто-то, заломил ему руки, тренированно извлек из его, Берии, галифе пистолет, и, поняв — конец, Берия с ужасом и стыдом ощутил: случилось то, что деликатно именуется медвежьей болезнью. И они, за длинным столом, унюхали; кто-то брезгливо бросил: «Уберите этого дристуна...»

...Берию вели на расстрел.

Он шел по гулким пустым коридорам, норовя, чтобы охранник не ступил сапогом на его распластанную тень.

Он шел спокойно — вовсе не потому, что отличался мужеством или не обладал естественным инстинктом самосохранения. Просто он привык видеть смерть, она давно перестала пугать и даже волновать, Берия словно забыл, что такое она. И еще он привык видеть себя далеко-далеко наверху и сейчас не представлял себе, что и его могут расстрелять, хотя умом и понимал это.

Сколько раз видывал он расстрелы — зачастую лишены трагической романтики расстрелов минувших времен. Никаких опереточных солдатских шеренг. Никаких ровно вскинутых винтовок. Никаких торжественных оглашений приговоров. Никаких слюнявских обращений к осужденному с предложением сказать слово перед казнью... Все просто, деловито, без эффектных поз у стены, повязок на глаза, прочей мишуры. Все просто, де-

ловито — будничную процедуру отработал он сам, Берия. Осужденного ставят на колени, и тот, чья очередь сегодня — а все офицеры пониже рангом отбывали эту очередь, некоторые и опережая срок: за приведение приговора в исполнение полагался стакан неразведенного спирта и суточный отгул, — пускает в ложбинку на затылке пулю из малокалиберного, чтобы не слышно звука, пистолета. Один выстрел. Один слабый щелчок.

Лишь немногие — да, совсем немногие — в последние мгновения теряли самообладание, превращались либо в закоченелых, либо ватных. Таких волокли, гибли, ставили на колени, случалось — стреляли в лежащих. Таких были единицы. Берия презирал их, но и радовался, как его кадры умели довести до подобного состояния этих бывших деятелей. Но большинство смотрели в упор. Большинство, прежде чем — повинаясь приказу, иногда насилью — стать на колени, успевали еще выкрикнуть в лицо палачам...

«Да здравствует партия!» — возглашали они, но партия — отвлеченное понятие, символ, она не может здравствовать.

«Слава Сталину!» — а Берия думал: глупцы, это же он приказал... И с наслаждением наблюдал, как выстрелом обрывало звук ненавистного ему имени.

«Фашисты!» — выплевывали они, но термины относительны, и слишком большое значение придают люди словам-символам, словам-ярлыкам... Фашизм, коммунизм, партия — пустые слова, думал Берия. Есть власть и есть те, кто повинуются власти, только и всего.

Никаким словам не суждено быть услышанными отсюда, в последние минуты пускай орут, что им заблагорассудится...

Последний коридор кончился.

Что ж, все на свете кончается рано или поздно, подумал он и почувствовал гордость оттого, что не было страха и думалось об отвлеченном — не о себе.

Теперь он стоял — по-прежнему спокойно — посреди комнаты, озаренной голыми лампами, короткая тень жестко лежала на полу.

— Три шага вперед, — приказал татарского обличия незнакомый полковник, и Берия в ярости — какой-то полковник, да еще татарин, осмеливается приказывать ему, Первому Заместителю Председателя Совета Министров, члену Президиума ЦК, Маршалу (он забыл, что



лишился всех этих титулов), завтрашнему Диктатору (и про то, что никакого завтра не будет), — противясь невозможности не повиноваться, Берия сделал три прочных шага.

Цирк, подумал он. Спектакль. И такое бывало в этих стенах. Бред. Чушь. Комедия. Здесь, на Лубянке, остались верные товарищи. Сейчас они войдут, могущественные генералы, и...

— За тяжкие преступления против народа и партии вы приговорены к расстрелу, — старательно, с легким акцентом объявил полковник. — Вы желаете сказать что-либо? Здесь присутствует прокурор. Приговор сейчас будет приведен в исполнение.

Сколько раз слышал Берия эти слова — об исполнении, но сейчас они относились к нему, они были невероятны. Ноги перестали держать туловище, он упал на колени, почувствовал гуталиновый запах от сапог полковника. Тот, должно быть, решил, что Берия добровольно встал на колени, дабы удобнее было его расстрелять.

— Встаньте... — сказал он тихо.

Но Берия не поднимался, он полз по шершавым каменным плитам и выл, выл громко и страшно и обрывчато думал: может, порядки завели другие и в коленопреклоненных, просящих пощады не стреляют и он будет жить, пока так стоит, на коленях, он будет жить еще хотя бы несколько минут, секунд, мгновений... Вдруг они успеют, его подчиненные, его товарищи...

Его подхватили под руки — не опустить, как делали обычно, чтобы поставить на колени, а поднять, — и Берия трудно выпрямился, ненавидя татарина полковника и того, мертвого. И еще он увидел перед собою — как наяву — начисто лысый череп, круглое, в родинках, улыбочное, а тогда перекошенное злобой лицо и подумал, что его-то даже возненавидеть не успел, так стремительно произошли события.

— Привести приговор в исполнение, — приказал полковник, и Берия услышал три шага. Три громких шага к нему.

Он ощутил — сзади, чуть снизу — касание тонкого ствола к голове и, прежде чем горячий толчок опрокинул навзничь, успел выкрикнуть бессмысленное и грязное...

Берию убили так.

Позвонил помощник Хрущева (после смерти Сталина Никита фактически занимал должность Первого секретаря ЦК, хотя официально стал носить этот титул с сентября 1953 года), кратко доложил: в полдень заседание Президиума ЦК. Берия выругался: порядочки завели, без предупреждения, без предварительного согласования. Хрен с вами, вот-вот все пойдет иначе, плевал я на ваши Президиумы да Советы.

Не здороваясь, пересек приемную, глянул мельком на стол, куда при мертвом полагалось выкладывать личное оружие, полагалось всем, кроме Берии. Одинаковые вороненые немецкие «вальтеры» чинно, рядочком лежали там. Он ощутил в заднем кармане галифе — свой, непохожий, никелированный, по спецзаказу. Властно распахнул дубовую дверь, она открывалась внутрь кабинета. Успел удивиться: похоже, за длинным столом восседали уже все до единого.

И тотчас тяжелое, жаркое навалилось, заломило руки Берии за спину, знакомо щелкнули замки наручников. Усердным пинком вышибло почти на середину комнаты. «Туда его, туда, засранца!» — перекошенным ртом заорал Хрущев; тот, кто заламывал руки, ухватил, как мальчишку, за шиворот маршальского мундира, поволок в боковушку, где прежде Сталин отдыхал накоротке или беседовал с особо приближенными. Теперь Берия видел: тот, кто схватил его, — генерал Москаленко. Выскочка, тля, шавка, подумал Берия.

Там, в боковушке, Москаленко захлопнул дверь, приказал стать лицом к стене и не шевелиться, вытащил из брючного кармана Берии щегольской пистолет. В отполированной панели Берия видел: у Москаленко — автомат «на ремень». Чурка с глазами, подумал Берия, трус поганый, ведь я в наручниках, да и куда я денусь теперь.

Дверь открылась, на панели возник светлый прямоугольник, они появились друг за другом, и даже по отражению в панели — без пенсне, сшибленного Москаленко — Берия узнавал каждого. Москаленко скомандовал: «Кру-гом!» И повторил, видя, что не понят: «Берия, тебе сказано — кру-гом!»

Они стояли почти ровной шеренгой — подтянутый, при мундире Ворошилов; нервно вздрагивающий Мо-

лотов; кубастенький пухлолицый Маленков; ослабленный Каганович; извечный жополиз Шверник и прочие; Берия ненавидел их, равно каждого, ненависть и жуть переполняли его, хотелось выть, кинуться в открытое окошко, нет, бить по башкам наручниками; ему хотелось пасть на колени, проклинать и грозить, умолять о снисхождении. Он стоял молча, и безмолвно стояли они. Хрущев протянул руку, Москаленко шагнул навстречу — три громких шага — и передал Никите автомат. Черная жуть заливала глаза, охватывала тело, и через черную черноту, через туманную близорукость Берия видел, как Никита неуклюже прицелился и по-дурацки повел стволом не справа налево, как полагается, а наоборот; первые пули шарахнули сбоку, раздирая панель мореного полированного дуба, и Берия рухнул, не ощутив горячего удара, — он умер прежде, чем неумелая, дурацкая очередь достигла его. За окном рокотали двигатели мощных грузовиков, заглушая стрельбу...

### 3

Берию везли на смерть.

Его везли — в танке, он впервые ехал в танке и еще не ведал, что едет в последний, вообще в последний раз едет он.

Он — в наручниках — оказался еще и прикручен к сиденью, холодному и жесткому. На месте механика-водителя шуровал рычагами могучий майор, и двое майоров по бокам, а еще один — сверху, из башни, бдительно держали связанного, скованного Берию под стволами пистолетов. Идиоты, думал он, трусы, думал он — не про майоров, про тех... Сковали, связали, из танка не выпрыгнешь, а если даже и выпрыгнешь... И все-таки еще — под пистолетами. Трусы, шавки, думал он про тех.

Сперва он растерялся, и только. Вроде никто, кроме адъютанта и тех, кому адъютант передал распоряжение, знать не мог о его намерениях в этот вечер.

Измотанный приготовлениями, подготовкой к тому, что предстояло завтра, он решил, наконец, отвлечься, сказал адъютанту: поедem в Большой. Добавил: охраны не надо, переоденусь в штатское, машина — обычная, без правительственных номеров. В охране тут не было смысла, знал он: в Большом театре служили и ответственные за безопасность вождей.

Спектакль — он знал — задержат на пять — десять минут, дабы публика заняла места; сквер перед театром оцепят главный вход перекроют; он войдет боковым, актерским входом, где шпалерами выстроится особый взвод — одни офицеры МВД, ради пристойности переодетые в форму рядовых милиционеров. Директор, безмолвно трепеща, сопровождает в боковую правительственную ложу, где в предбаннике приготовлен столик с коньяком и прочим, почтительно придвинет кресло, незаметное из уже притемненного зала, попросит разрешения удалиться. Адъютант останется в предбаннике, кобура с пистолетом сдвинута на живот. И тотчас поднимется занавес, грянет увертюра.

Серенькая, обыкновенная «Победа» остановилась у бокового подъезда. Выскочив первым, адъютант помог выйти с заднего сиденья. Что-то непривычное остановило внимание Берия. А, вот что: не было шпалер охранников в милицейской форме. Не успели, подумал он. Как это — не успели? Он повернулся, гневный, к адъютанту, не увидел его и свирепо выругался. И не успел увидеть, сообразить, откуда и кто возник перед ним, запысть оказались в наручниках.

Его кулем поволокли в сторону — рот забили сразу кляпом, — втащили на броню «тридцатьчетверки», сунули в люк башни, вмазали в жесткое сиденье, прикрутили грубыми веревками, кляп вытащили, мотор взревел, четыре пушечных ствола уставились, после один ствол убрался: механик с майорскими погонами на комбинезоне взялся за рычаги.

Танк двигался без спотычки на ухабах, следовательно, везли по асфальту. Берия пришел в себя и, отматюгавшись, обрел спокойствие. Он холодно думал: авантюристы, заговорщики, ведь всюду расставлены его войска, без опознавательного знака МВД непременно танк остановят, как только ворвутся в сго, Берия, зону войск, и тогда эти четверо майоров лягут под траки, он прикажет проутюжить раз и другой, и третий, чтобы осталось только мокрое пятно там, где положили этих майоришек, рабов, жалких статистов, а потом даст условленный сигнал по запасному варианту, не завтра, но сегодня, тотчас совершится намеченное, и наутро, сутками раньше предусмотренного, сотни тысяч хмельного быдла заполнят Красную площадь, чтобы приветствовать Его, Верховного Правителя, такой титул придумал он себе...

Танк грохотал и лязгал, поворачивал куда-то, марш-

рут невозможно было угадать, путь длился уже полчаса, наконец остановились, в уши ударила тишина.

Его освободили от веревок, даже сняли наручники. Повинуясь команде, Берия неловко цеплялся за какие-то скобы, оказался на броне и опасно спрыгнул на землю.

Просторный, за кованой решеткой двор, перекрещенный лучами прожекторов, казался незнакомым. Берии приказали завести руки назад, четверо майоров конвоировали вплотную, а за ними следовал — автоматы навскидку — пожалуй, целый взвод. Приземистый купол дота возник впереди, створки с железным грохотом раздвинулись, наружу выбросился прямой и, казалось, твердый электрический свет.

«Я — где? — спросил Берия. — Куда ведете?» — «Молчите, — велел майор, что шел справа и норовил наступить сапогом на его, Берии, тень. И, помедлив, майор сказал-таки: — На территории штаба Московского военного округа».

Лязнула еще стальная створка, в квадратном помещении — казарменный табурет, ни койки, ни столика, ни параша. Все, подумал Берия, ваша взяла.

С него сорвали пенсне, привычно и ловко — бритвочками — отхватили пуговицы на пиджаке и брюках, отобрали поясной ремешок, выдернули шнурки из ботинок, сняли часы, посоветовали не орать и не ломиться в дверь, поскольку никто не услышит, удалились.

Берия сел на табурет. Все, конец.

Долго ждать не пришлось.

С привычным — как на Лубянке — лязгом отверзлась дверь, возникли трое: замухрышка в стандартном штатском и двое в армейских кителях, при снаряжении, кобуры нагло сдвинуты вперед, погоны лейтенантские, но кто знает, в каком они звании на самом деле, — Берии хорошо было известно, как в зависимости от обстановки на время полковник может нацепить старшинские знаки, а старшина — полковничьи.

Штатский замухрышка молча протянул газету, и Берия, сильно щуря лишенные окуляров глаза, наторелый в чтении документов, моментально зафиксировал: «Правда» помечена завтрашним числом. И столь же бегло, тренированно вычленил суть.

А суть заключалась в том, что пять июльских дней Пленум ЦК КПСС обсуждал доклад товарища Г. М. Маленкова о преступной деятельности врага пар-

тии, врага народа Л. П. Берии и постановил вывести его из состава ЦК, исключить из партии.

Дураки, подумал Берия, врал бы поумнее. Никакого Пленума не было. Ишь, спинозы, поумнее сочинить не могли... Скомкав газету, он отшвырнул подальше.

Тотчас задрипанный штафирка протянул — в раскрытой папке — листок, снова привычный Берия глянул в корень: Особое присутствие Верховного Суда под председательством Маршала... рассмотрев... заслушав... приговорило...

Берия хотел, считал себя обязанным, норовил раскромсать в ошметки эту липу; он хотел плюнуть в морду замухрышистому штафирке — неведомо, кто же он, — и Берия не успел...

Слитные выстрелы из двух пистолетов изрешетили его.

4

Берию судили так.

Целых пять месяцев длилось беспристрастное, полностью основанное на принципах Сталинской Конституции судебное следствие по делу подлого изменника, врага партии, врага советского народа, прожженного авантюриста Берии. Он предстал перед Особым присутствием Верховного Суда СССР, председателем доверили быть мне — Маршалу...

Наше Присутствие называлось Особым, оно, как революционные трибуналы времен гражданской войны, руководствовалось не кодексами, а нашей партийной совестью и революционным чутьем. Никаких прокуроров, адвокатов, никакой традиционной процедуры судебного разбирательства. Мы, члены Суда, расположились за длинным столом, перед каждым лежали пухлые книжицы следственного дела. Напротив — в мягком кресле! — сидел Берия, покуривал, тоже листал документы. Мы позволяли ему говорить, что и сколько вздумается, и, набравшись терпения, не перебивали, он болтал, сколько хотел, и так продолжалось несколько дней. А после мы двое суток не спали, вырабатывали текст справедливого приговора, нам, конечно, помогали квалифицированные юристы. Весь процесс стенографировали. Мы оказались единодушными в самом главном: расстрелять. И мы огласили приговор, справедливый, революционный. Подвергли изменника казни в Бутырской тюрьме на

рассвете двадцать третьего декабря пятьдесят третьего года...

...Все я вру, думал Маршал, произнося это на узком собрании партийных работников. Никакого Особого присутствия не создавали, председательствовать там, где ничего не было, ни я, ни кто-то другой — не мог. Мне вручили текст, вот я и говорю. Не хочу на старости лет кончить позорно. Лучше наговорю, что велено, и помру, придет срок, почетно. А про Берию — я что могу знать... Москаленко хвастает, что пристрелил Лаврентия он; Никита везде трепался, будто самолично его прикончил еще в июне... А еще слышать, будто казнили его в Лефортово, в блиндаже на территории штаба Московского округа... Бог их разберет... Мне помирать скоро. Не стану ввязываться. Мне велели говорить — я выполняю. Солдат я, хоть и в звании Маршала...

5

17 декабря 1953 года. Сообщение в газетах «В Прокуратуре СССР» — о завершении следствия по делу Л. П. Берии, а также бывшего министра государственной безопасности СССР, а в последнее время министра государственного контроля СССР В. Н. Меркулова, министра внутренних дел Грузинской ССР В. Г. Деканозова, заместителя министра внутренних дел СССР Б. З. Кобулова, начальника одного из управлений МВД СССР С. А. Гоглидзе, министра внутренних дел УССР П. Я. Мешика, бывшего начальника следственной части по особо важным делам МВД СССР Д. Е. Влодзимерского.

Через шесть дней газеты известили, что Специальное судебное присутствие Верховного Суда СССР приговорило указанных выше преступников к высшей мере уголовного наказания — расстрелу, с конфискацией лично им принадлежащего имущества, с лишением воинских званий и наград. Приговор приведен в исполнение.

Как оно было — Бог разберет или будущие историки. Одно ясно: Берию прикончили.

Не раньше лета и не позднее декабря тысяча девятьсот пятьдесят третьего года.

Это известно доподлинно.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

В грубом солдатском белье из желтоватой бязи, с тесемочками вместо пуговиц, он вылез из-под казарменного одеяла, втиснул старческие, в толстых венах ноги в особые, на собачьем меху и с низкими голенищами домашние сапоги. Переваливаясь, точно больной подагрой, прошаркал к холодильнику. Достал боржомом, мелко выпил, полоща в утомленной за ночь, тесной полости рта. Часы били полдень.

На тумбочке — и она походила на казарменную — загодя наполненный электрический чайник, ткнул вилку в розетку, попал не сразу — руки слегка подрагивали, — достал пачку зеленого чая и азиатскую пиалу. Сунул в искусственные зубы донхилловскую трубку без табаку, втянул никотиновый дух, закашлялся. Болела искалеченная в детстве рука, сукины дети, не могут ничего. Болит рука. И ноги шаркают по голому дощатому полу, не хотят отрываться. Плохо. Старость.

За окошком сильно пуржило, надо заставить себя надеть тулупчик, взять деревянную лопату, пошуровать у крыльца. Полезно. Думают, напоказ, для демократизма, как и обстановка на этой, кунцевской даче. Плевал он на всякий показной демократизм.

Маленький, на две пиалушки чайник шустро закипел, фукнул тоненьким паром, и, пренебрегая азиатскими правилами, он прямо в этот, незаварной чайник насыпал — немеряно, на глазок — заварки. Натянул трепаный халат, пошел в каминную. Половица скрипнула, он вздрогнул.

Как полагалось, камин раскопчегарили заранее, возле решетки аккуратно лежали звонкие березовые полешки, можжевеловые, для запаха прутья. Пошерудил кочергой, подбросил полешек, ополоснул пиалку чаем, выплеснул в огонь, налил почти до края, посудину держал по-узбекски — четыре пальца под узкое донышко, боль-



шой — поверху. Придвинул к огню жесткое казенное креслице, отхлебнул кок-чай, развернул газету.

«Правду» печатали для него на плотной гладкой бумаге, тщательно приправляя набор, простукивая щеткой лист, экземпляр вычитывали особо; если вдруг случалась опечатка, самая пустяковая, — тискали номер заново.

Минувшей ночью главный редактор самолично привозил к нему в Кремль пробный оттиск, просушенный, чтобы не пахло краской, свернутый в рулон, вложенный в футляр. Но пробный оттиск есть лишь пробный оттиск. И, хотя он знал, что никакая сила на свете не помешает опубликовать подготовленное по его распоряжению и лично им отредактированное оповещение, он все-таки, прежде чем глянуть на последнюю полосу, бегло поглядел с начала.

Так-так. В «календарике» — 13 января 1953 года. Передовица: «К новому подъему нефтяной промышленности». Статья: «Упадок внешней торговли Франции»... Пустяки все. И правильно: прежде чем выкинуть козырь, надо пошвыряться мелкими картишками, козыри приберегают напоследок... Это ему принадлежала мысль — дать гвоздевой материал на последней полосе.

Сообщение ТАСС: «Арест группы врачей-вредителей».

Он, слава богу, обладал отменной, отнюдь не стариковской памятью, он ухватывал моментально и запечатлевал почти наизусть. Он знал, что ни одной запятой не посмели бы здесь исправить без его позволения. И все-таки он читал медленно.

Так-так. Органами государственной безопасности некоторое время назад... террористическая группа врачей... Жертвами выродков стали выдающиеся... А. А. Жданов и А. С. Щербаков... Ставили целью подорвать здоровье руководящих военных... Прежде всего Маршалов Василевского, Конева, Говорова... Агенты международной еврейской буржуазно-националистической организации «Джойнт»... американской военной разведки... В числе участников шайки...

Право же, хорошо, трое русских, а евреев шестеро, пропорция соблюдена, всяк поймет, что главные — они, однако никто не посмеет сказать, будто идет антисемитская кампания, — выглядит объективно. И к месту упомянуто, что указания получали от еврейского буржуазного националиста Михозлса... Может, с Михозлсом по-

торопились тогда, в сорок восьмом, следовало обождать, притянуть к делу живым? Ладно — и так сойдет.

Зато какова идея: напечатать 13 января, в пятую годовщину «трагической гибели» этого Соломона, как его, Михайловича, вроде... Михайлович... Мойшевич на-верняка...

Вспомнилось — он любил запоминать свои фразы — сказал однажды Каменеву и Дзержинскому: «Избрать жертву, разработать точный план, утолить жажду мести и потом отдыхать... Ничего нет слаще на свете».

Жертвы избраны, план разработан. Сукин сын Лаврушка знает дело. Тем более вставил Лаврушке филь- тиль насчет того, что органы чуть не проморгали... Сей- час машина закрутится. А он сегодня не поедет в Кремль. И снег разгрести не станет. Отдыхать так от- дыхать...

Деликатно постучав, вплыла экономка, достойно, без робости поздоровалась, он милостиво кивнул. Сам снял крышку с мельхиорового судка, поворошил округ- лой ложкой — гречневая рассыпчатая каша, обычный завтрак. Теплое, всмятку яйцо в рюмочке. Хрусткий да- же на вид лаваш — единственное грузинское, что ел он теперь. И сочные ломти дыни, будто с грядки.

— Откуда? — спросил он, ткнув пальцем в дыню.

— С базы, товарищ Сталин, — отвечала экономка Валя заученно.

— Где такой город — База? — сердито буркнул он, уже не впервые задавая такой вопрос и зная заведомо, что не получит ответа. И не стал его дожидаться, велел принести киндзмараули. С утра он пил очень редко, да и вообще пил мало, преимущественно в компании, но экономка скрыла удивление, мигом исполнила.

Налил полный фужер, поковырял кашу, еще выпил, заел дыней, аппетита не было. Опустил поднос на пол, вынул из кармашка любимый синий карандаш, взял «Правду», поверх сообщения о врачах разборчиво напи- сал: «т. Берия, той патриотке — орден Ленина». Под- черкнул, выделяя иронию, — патриотке.

Нажал кнопку. Дежурный генерал возник, щелкнул каблуками. Он поморщился: не выносил стука. Может, напрасно выгнал Власика, тот был хороший начальник охраны, порядки знал — не уставные, а установленные. Эти новички никак не освоятся.

Велел позвонить, что не приедет, принести из каби-

пета конверт, сургуч, печатку; приготовить одежду — для веранды.

«Правду» он в пакет запечатал сам, чтобы никто не увидел резолюцию. С помощью генерала оделся. Ватные солдатские шаровары, фланелевая рубашка, телогрейка, подшитые валенки с портянками. Шуба — ее привез из Америки Михозлс, подарок от евреев скорняков, на изнанке шкурок стояли их подписи... В благодарность за счастье советских евреев... Надел армейскую шапку, завязал уши ее внизу, напялил меховые, крытые брезентом рукавицы, став совсем низеньким и громоздким. Пошлепал на веранду, на холод, улегся на жестком, только солдатским сукном покрытом топчане. Генерал осторожно натянул — до его подбородка — медвежью полость, спросил разрешения идти.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Пока он лежал на морозной веранде, выпростав тепло упакованные руки, пока он обрывчато, по-стариковски подремывал, а в промежутках лежал почти бездумно, поглядывая на дерзновенных воробьев, что залетали в открытую форточку и шустрили под высоким потолком, прыгали по полу, тщетно отыскивали пропитание, один даже проскакал по медвежьей полости почти до самого лица; пока тихая метелица улеглась и низкое солнце осторожно пало на свежепокрытые сугробы, — газета с его резолюцией, доставленная в засургучеванном пакете, легла на стол Берии.

Он мигом увидел, конечно, резолюцию насчет ордена Ленина, не придав ей особого значения, — это дело Шверника, Председателя Президиума Верховного Совета. Но что-то другое беспокоило его в знакомом — составлял он сам — тексте, и Берия вчитался несколько раз, пока не обнаружил незначительную на первый беглый взгляд вставку, внесенную Сталиным еще до набора, видимо; выглядело это так: органы госбезопасности проявили нерасторопность и раскрыли банду с некоторым опозданием... Походило на большевистскую самокритику, но Берия превосходно понял, в чей огород полетел не камушек даже, а булыжник. За этим первым звонком вполне мог последовать и второй, а после третьего занавес поднимается, открывая другой спектакль, где главную роль придется играть ему, Берии,

да и не только ему, но и бывшим членам Политбюро, упрощенного Девятнадцатого съездом, — теперь они составляли Бюро Президиума ЦК...

Своей поправкой Сталин предупреждал, и Берия, поскольку понимал его лучше, нежели прочие, понял и это. Пахло нехорошим, на расправу Он короток, подозрительность его безмерна, Он непредсказуем... Берия напевал негромко, он отличался музыкальностью, но мурлыкал себе под нос только в дурном настроении.

Прежде всего, думал Берия, следует подготовить врачей и — быстро. И — основательно, чтобы не оказалось ни малейшей осечки вроде тех, что случались пятнадцать лет назад в больших процессах, вроде той, когда Крестинский в судебных заседаниях то прямо отказывался от показаний, данных следствию, то достаточно ясно намекал на способы получения показаний. Любая накладка такого рода могла обернуться теперь большой бедой.

И в подготовке не должно быть мелочей, должны быть продуманы все детали. Больше, больше инициативы, в этом спасение его, Берии. Хозяин затеял свою игру, надо, непременно надо его переиграть, упредить, выкинуть свою карту. Берия принялся размышлять, как позффектнее подать награждение патриотки. Это — для начала.

Терапевт из Лечебно-санитарного управления Кремля, тридцативосьмилетняя Лидия Тимашук поддалась без всякой спецобработки, столь быстро и легко, что Берия с Рюминым даже удивились.

Ее доставили к Рюмину, одному из заместителей Берии, начальнику следственного отдела по особо важным делам. Усадив перепуганную, мокролицую то ли от слез, то ли от пота докторшу в кресло, предложив чай с хорошими конфетами, Рюмин без лишней траты времени на всякие слова и пояснения протянул ей отпечатанный на фирменном бланке министерства текст, положил еще три листа такого же формата, но — без фирмы, почти ласково предложив познакомиться с содержанием и принять решение, а сам принялся за очередные дела, перелистывая одну за другой пухлые папки. Он давно знал, что сам вид этих папок внушает ужас.

Он перечитывал подшитые в папку дубликаты бумаг, тех самых, что лежали сейчас перед Тимашук, время от времени коротко поглядывая на нее. Лицо женщины

менялось поминутно: то делалось мокрым, то почти мгновенно высыхало, становилось белым, покрывалось пятнами, похожими на лишай.

Молодцы, подумал Рюмин о своих подручных, толково сработано, сжато, емко, в особенности решение Особого Сопещания, отпечатанное на фирме:

«За активное участие в группе врагов народа, возглавляемой бывшим академиком Академии медицинских наук Вершининым В. Н., которая совершила подлое убийство выдающихся деятелей партии и государства товарищей А. А. Жданова и А. С. Щербакова и готовила преступное злодеяние, направленное на уничтожение виднейших советских военачальников, — врача Лечсанупра Кремля Л. Ф. Тимашук приговорить к высшей мере социальной защиты — расстрелу.

Детей указанной Тимашук, знавших о готовящемся преступлении, но скрывших это от органов государственной безопасности, — подвергнуть заключению в лагере сроком на 5 лет.

Решение Особого Сопещания не подлежит обжалованию, приговор приводится в исполнение немедленно после утверждения Генеральным Прокурором Союза ССР».

Конечно, понимал Рюмин, в бумаге этой не было элементарной логики: почему Тимашук подлежит расстрелу отдельно, а не вместе с остальными? Но он понимал и другое: когда человека вот так ошпарят, ему не до логики. А если даже опамятуется, будет отрицать — ну что ж, и это предусмотрено, — и на нее, голубушку, заготовлена, как и на тех, сходная бумага.

Второй, пространный документ тоже нравился Рюмину, отработывали долго, тщательно:

«Министру государственной безопасности СССР, Маршалу Советского Союза товарищу Берия Л. П.

Дорогой и многоуважаемый Лаврентий Павлович!

Являясь пламенной патриоткой нашей могучей Родины, под гениальным руководством Великого Вождя и Учителя товарища Иосифа Виссарионовича Сталина уверенно идущей к вершинам Коммунизма, считаю своим почетным гражданским долгом сообщить Вам и в Вашем лице любимой Партии, Советскому Правительству, лично дорогому товарищу И. В. Сталину о преступной, вражеской деятельности предателей, изменников, шпионов иностранных разведок, еврейских нацио-

налистов, пробравшихся на видные посты в Лечебно-санитарное управление Кремля.

Вот имена этих иуд: Мойся Мирон Семенович (в действительности — Меер Соломонович), Вершинин Василий Николаевич, Кацман Мордух Борисович, его брат Кацман Борис (Борух), Павлов Антон Ильич, Фишман Григорий (он же Гирш) Львович, Эйтвид Яков Хаимович, Гутштейн Абрам Моисеевич, Солдатов Глеб Иванович...\*

Дальше описывались совершенные и задуманные преступления.

Рюмин подумал, начертал на уголке своего экземпляра: «Публикации не подлежит, сообщим только факт наличия заявления». И посмотрел на Тимашук в упор.

Уж он-то видывал виды, чего только не понагляделся, однако и ему стало не по себе: Тимашук была мертва.

«Слушайте, хватит придуряться», — хотел было сказать он и промолчал. Гадина, подумал он, сохла раньше времени, да ладно, не велика беда. Подпись, что ли, нам так нужна. Поставим сами, даже лучше, надежнее. Он окликнул на всякий случай:

— Тимашук, что с вами?

Не отозвалась. Рюмин поднялся, достал из шкафа нашатырь, накапал валерьянки, сунул флакон ей под нос...

Тимашук воскресла. Она в один глоток выпила полстакана боржоми с валерьянкой, вынула из рукава платочек — сумочку, разумеется, у нее отобрали на пропускном пункте, — спросила механически:

— Извините, у вас не найдется расчески?

Рюмин усмехнулся, достал кожаный футлярчик из кармана.

— Что я должна делать? — спросила Тимашук, и Рюмин ответил кратко:

— Либо подписаться, что с приговором ознакомлены, и отправиться в камеру смертников, либо собственноручно скопировать текст вашего заявления...

Она молча потянулась к самописке.

— Спасибо, товарищ Тимашук, — сказал он, когда безукоризненно, без помарок исполненная бумага легла перед ним. — Рад был познакомиться. Машина внизу ждет вас.

\* Как указано в предисловии, фамилии, имена, отчества изменены. — Авт.

Проводил к двери, поддерживая под локоток. И ска- зал в телефонную трубку:

— Лаврентий Павлович, полный порядок.

Необходимо — совершенно и безусловно — придумать нечто выходящее из ряда вон, думал Берия. Опубликовать указ внизу на первой странице — эка невидаль, все указы печатаются так, а тут надо иное.

Запершись и отключив телефоны, он думал долго...

Звонить в Кунцево позволялось немногим, в том числе Берия, но только при неотложной, крайней необходимости, каковой не было в данном случае, однако Берия одолевало нетерпение поделиться инициативой, кроме того, невмоготу было, хотелось узнать, как тот чувствует себя, вдруг и в самом деле ударил подобно прошлогоднему сердечный приступ. Походив по кабинету, несколько раз прикоснувшись к трубке белого, с золоченым государственным гербом аппарата, он решил наконец, набрал двузначный номер и сразу услышал хриловатое дыхание: Сталин, когда звонили ему, не имел обыкновения откликаться.

— Здравствуй, Коба, — сказал Берия. — Я тебя не побеспокоил?

В хриловатом дыхании улавливалось раздражение — Берия различал у Него и такие оттенки, — пауза становилась угрожающей, и, чтобы сказать хоть что-то, пришлось бессмысленно — ибо Сталин, разумеется, знал голоса всех ближних — произнести:

— Это я, Лаврентий. Ты хорошо себя чувствуешь, Коба?

— Здравствуйте, товарищ Берия, — наконец откликнулся Сталин, отклоняя товарищеский тон. — Я слушаю.

— Товарищ Сталин, здравствуйте, — повторил Берия, подчеркивая: оплошность понята, поправка принята. — Товарищ Сталин, я хотел бы доложить...

И кратко, выверенными фразами проинформировал.

Сталин, по обыкновению, ответил не сразу, его реакция почти всегда отличалась замедленностью и непредсказуемостью. Берия прикрыл микрофон ладонью, чтоб тот не слышал его дыхания, тоже, вероятно, хриловатого и вдобавок напряженного. Мог последовать взрыв спокойной, размеренной матерщины, могла прозвучать немногословная и тоже спокойная похвала, мог и просто положить трубку, словно раскаленную его — тоже

спокойной — яростью. Спросить, расслышал ли Сталин, правильно ли понял, Берия не смел, да в том и не было нужды: конечно, слышал, аппараты отличные, и, разумеется, понял, ибо всегда ухватывал с лету...

— Я думаю... — сказал Сталин, помедлив. Берия сжался. — Я думаю, народ поймет нас правильно, — завершил он наконец, и в трубке загудело. Берия сделал глубокий выдох.

На радостях соединился с редактором «Правды», изложил суть, редактор вроде осмелился усомниться (в голосе слышалась неуверенность), можно было сослаться на санкцию Хозяина, однако Берия мигом решил и произнес подчеркнуто:

— Делай, как сказано. И передай в ТАСС, чтобы везде был порядок.

— Прецедентов не... — начал было редактор.

Берия оборвал:

— Прецеденты — создаются. Выполняй.

Ловок, ловок, бестия, мингрельская лиса, думал Сталин; лихо допер... Он почувствовал себя уязвленным: такие идеи должны исходить от него, Сталина. Правда, в данном случае идея носила характер не крупный, так себе, мелочевка, однако неожиданная... Ему захотелось взять реванш, утереть Лаврушке нос. Общую схему давно разработал Берия, она осуществлялась поэтапно, и близился заключительный акт, его-то и следовало поэффектнее обставить. То, что придумал сегодня Лаврушка, конечно, выглядело крепко, но это была только деталь, частности, штрих, и это шло от Берии, а Он должен выдать нечто гениальное, не в пример бериевским чекистам. Тоже мне, голова и два уха, не могут сочинить даже, в чем обвиняется подследственный, предлагают арестованному самому составлять донос на себя.

За обедом он размышлял неотступно, потом перелистывал лежащий всегда под рукой томик Никколо Макиавелли, перечитывал слова, которые помнил наизусть: «Мудрый государь и сам должен... искусно создавать себе врагов, чтобы, одержав над ними верх, явиться в еще большем величии».

В томик великого итальянца он заглядывал часто; он любил повторять, будто в трудные минуты советуется с Лениным, подобно тому, как Ульянов заявлял, что советуется с Марксом. На самом же деле он только ссылался на Ленина, когда было выгодно и нужно, хотя



ненавидел его, давно мертвого, ненавидел за пресловутое завещание, будь на то его воля, давно приказал бы не упоминать имя Ульянова (так мысленно и в разговорах с близкими именовал), но запретить не мог, и ссылки на единомышленника, учителя ему еще требовались — никуда не денешься. А советовался он в крутые моменты с Макиавелли — очень чтил этого итальянца, хоть и жил тот четыреста лет назад, мысли — как сегодняшние...

И на этот раз Макиавелли помог, натолкнул на мысль...

Эх знать бы наперед, не торопиться бы с Михоэлсом, вот кто пригодился бы теперь, великий еврейский актер, председатель Еврейского антифашистского комитета, с его-то международными связями... Поторопились...

Он вспомнил: дочка, Светлана, вошла в кабинет, когда Берия докладывал по телефону. При дочери говорить не хотелось, он только слушал, потом, лишь резюмируя, не спрашивая, но утверждая, бросил в трубку: «Ну автомобильная катастрофа...» Потом поздоровался с дочерью, помедлил, сказал отдельно: «В автомобильной катастрофе в Минске погиб Михоэлс. — Снова помедлил, добавил: — Великий был режиссер и артист, большая потеря».

Да, потеря — вот сейчас — большая. Ладно, другой найдется.

— Лаврентий, — сказал он в трубку, самым обращением задавая отличный от давешнего, официального, тон. — Слушай...

Он говорил, будто диктовал, и, когда закончил, Берия вопреки обыкновению решился переспросить, правильно ли понял.

— Понял правильно.

Берия, видно, впал в шок, невзначай повторив редактора «Правды»:

— Но, товарищ Сталин, прецедентов не было...

И Сталин ответил точно так же, как сам Берия отвечал редактору:

— Прецеденты создаются. Мы — первая в мире страна, прокладывающая путь к коммунизму, у нас многое — впервые...

Он цитировал самого себя и говорил будто с высокой трибуны, Берия уловил едва заметную иронию в этой казенной тираде, он знал, как умеет Коба шутить, и, включаясь в игру, мысленно подставил на место этих —

другие слова, часто повторяемые автором: «Существует марксизм догматический и марксизм творческий. Я стою на позициях последнего».

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Его вели по бесконечным, то прямым, то изломанным коридорам, тускло освещенным голыми, мертвенными лампами. Охранник, идущий впереди, непрерывно ударял дверным ключом по солдатской металлической пряжке ремня, понять для чего, было трудно, пока навстречу не донесся такой же металлический звук, и страж, что следовал позади, велел стать в неглубокую нишу стены, лицом внутрь, и сделалось слышно, как мимо провели кого-то, — шаги раздавались гулко, — после же приказали повернуться и снова идти по бесконечным прямым, изогнутым, приземистым коридорам, куда-то в неизвестность, глухую и, безусловно, страшную.

Наконец таинственный и жуткий путь кончился — любая определенность, даже неполная, даже намек на определенность лучше абсолютной неизвестности, — его водворили в голую камеру, освещенную ослепительной лампой, и, заключенная в проволочную сетку, эта лампа как бы символизировала всю здешнюю обстановку: голая, в наморднике.

Охранники остались за дверью, еще разверстой, их сменил в камере добродушного, славного вида юноша в офицерской форме, но почему-то без погон; аккуратными, негрубыми прикосновениями обшарил, общупал, обхлопал всю одежду, сноровисто — лезвием — удалил все до единой пуговицы пиджака, рубашки, брюк и кальсон, выдернул шнурки из штиблет, отобрал подтяжки, почти деликатно, как бы молча извиняясь, отобрал удобные очки в прекрасной оправе — он проделал все молча, беззлобно, почти вежливо и столь же безмолвно, что казалось — будто это в немом кино, покинул камеру, так ничего и не объяснив. Заперли.

Часы, золотые, подаренные Андреем Александровичем Ждановым, с благодарственной гравировкой («Безмерно уважаемому Василию Николаевичу Вершинину от признательного пациента»), — отняли, конечно, тоже, время теперь протекало невнятно, неоформленно — в безоконную камеру не проникал внешний свет, он сел на холодный пол, праздно подумав, что с детских лет си-

деть на полу не доводилось. Клонило в сон, как всегда с ним бывало в часы потрясений. И еще одна особенность водилась за ним: когда выпадали крупные неприятности, хотелось алчно, звероподобно есть, лопать все, что подвернется. Аномалии, милостивые государи... Но и спать на каменном полу оказалось невозможным, и пищи не дали никакой, даже воды...

...вежливы, воспитаны, вышколены, двое, в штатском. Сперва — жене: извините, пожалуйста, за поздний визит, Мария Викторовна, служба, знаете, такая, приходится беспокоить уважаемых людей, вы не волнуйтесь — чистая формальность; и вы уж извините, Василий Николаевич, вынуждены просить ненадолго поехать с нами, обратно тоже предоставим машину; пожалуйста, оденьтесь... Нет, пожалуй, удобнее в штатском, не в форму...

...без обыска, без понятых, без ордера на арест, значит, и в самом деле какая-то формальная процедура, у них государственные заботы, мало ли что понадобилось, может, снова экспертиза, как тогда...

...как вымерла, ни единой души; оцепили улицы, по которым проезжали? Чепуха, зачем им это... Просто Москва уснула, каждая квартира уснула или сидела взаперти, во тьме и ждала своего часа; однако почему такие мысли, он-то, академик, генерал медицинской службы Вершинин, при чем; понадобилась консультация, экспертиза, мало ли что, у них государственные дела...

...из-за внушительного, чисто прибранного стола, предупредителен, даже почтителен; в полковничьих погонах, здравия желаю, товарищ генерал, прошу вас, присаживайтесь, Василий Николаевич, извините, что побеспокоили, не желаете ли чайку, сейчас попросим свеженькой заварки... Прошу вас... А заодно, будьте любезны, ознакомьтесь, пожалуйста, с этой бумагой, а я мешать не стану, посижу за своим столом, работы, знаете...

...бред, говоришь, нонсенс, чушь?.. И — по щекам, по щекам, не символически, а от широкого сердца... Гадина, говно, академик хренов, шпион, продажная шкура, еврей поганый... Как вы смеете!.. Ха, как мы смеем, то

ли еще будет, подписывай, пока по-хорошему... Это называется — по-хорошему? Молчать, скотина, иуда...

...то прямые, то изломанные, ослепительно озаренные нестерпимыми голыми лампами, лязг дверей, ниши в стенах, ты штаны-то держи как следует, не показывай стариковскую жопу, направо, налево, в нишу, поторапливайся, падла... Гляди, какой нежный, иди, вишь, не может, сука никудышная... На расстрел? Почему же на расстрел, если ни в чем... Стой, прибыли, ваше го-венное превосходительство...

...позвольте представиться, товарищи: действительный член Академии медицинских наук, генерал-полковник медицинской службы, по мнению же здешних — говнюк, простите за выражение...

...тебе товарищ, заткнись, пидорас, враг народа ты, а, не понял, так вот, брянский волк тебе товарищ, фашистское отродье, ты, гад, не выпендривайся, мы — воры в законе, а ты, гадина, кто...

...Лубянка, откуда здесь воры, и брань какая-то уж слишком старательная, слишком... Ненатурально все как-то...

...у параша, там тебе и место, фашистская тварь, понюхай говнеца и не рыпайся, не то на башку тебе насым... Не вяньгай, падла, пока руки-ноги не перешибли, пока... в задницу тебе не всунули...

Бадья с двумя скобками, оклепана ржавыми обручами, прикрыта деревянной заслонкой, воняет нестерпимо, даже когда плотно задвинута сверху, но это делают не все, большинство либо по небрежению, либо нарочно оставляют полуотверзтой, а кто-то брызжет в лицо, но протестовать нельзя, иначе... Они, если говорят правду, воры, притом — в законе, а ты — вне закона, и твое дело — молчать, молчать, молчать. И здесь — молчать, и там тоже... Где бы ни пришлось — молчать... Но... Но как же Плетнев, Дмитрий Дмитриевич... Он ведь — говорил... Притом — публично...

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Их вели по коротким коридорам, не столь импозантным, как фойе, парадная лестница, два зрительных зала, хорошо им знакомых, однако по коридорам, лишенным казенщины. В окна, задернутые шелковыми шторами, весело светило солнце. Было тринадцатое марта 1938 года.

Вели гуськом, разделив поодиночке между конвойными, шаги по ковровым дорожкам звучали мягко, домашнему, а не оглушительно, как было в тюрьме. И эти незатоптанные ковровые дорожки, шелковые сборчатые шторы, мягкие пufики вдоль стен, кадки с пальмочками, пейзажи и натюрморты в багете, висячие плафоны выглядели уютными, человеческими. Конвой не стучал по металлическим пряжкам ремней, двигались тоже почти неслышно, ни команд, ни окрика, поскольку подсудимые за две недели досконально запомнили путь по кулуарам Дома Союзов, а правила поведения усвоили значительно раньше и не собирались нарушать, да и не имели на то сил и воли.

Перед боковым входом в Октябрьский зал (почему-то на сей раз выбрали его, а не значительно более просторный Колонный) охранники выстроились шпалерами вдоль стен, из двери, ведущей в зал, явились два уже знакомых подсудимым майора, принялись отсчитывать преступников, пропуская поодиночке, в том порядке, в каком они числились в обвинительном заключении, под номерами, полученными сразу после водворения в камеры. Доктор Плетнев значился номером восемнадцатым, и место на скамьях подсудимых ему определилось во втором ряду, по установленной здесь иерархии, обусловленной и прежним должностным положением, и степенью вражеской вины, и, наверное, предстоящей мерою наказания. Впрочем, если мера наказания для всех не станет одинаковой, здесь, как перед Богом, все равны, не раз думал шестидесятишестилетний, второй по старшинству возраста, доктор Дмитрий Дмитриевич Плетнев, усаживаясь между коллегами: главным из врачей-вредителей Львом Григорьевичем Левиным (именно он — двумя годами повзрослей) и — совсем в глазах Плетнева молодым — Игнатием Николаевичем Казаковым. Впереди, поерзав, уселся возбужденный Николай Николаевич Крестинский — его неслыханным мужеством, когда он в судебном заседании принялся отрекать-

ся от показаний, данных на предварительном следствии, Дмитрий Дмитриевич с ужасом восхищался. По-солдатски выпрямленный, сел бывший нарком внутренних дел Ягода, демонстративно подняв стриженную под бокс голову. Несколько раз дыхнув на стекла, протирал очки Николай Иванович Бухарин — на время судебных заседаний окуляры выдавались всем, кто их носил, Плетневу в том числе, это приносило облегчение, почти радостное, мир делался отчетливым и ярким, тем более по контрасту апартаментов Дома Союзов с тюремными камерами.

За судейским столом восседал армвоенюрист Ульрих, похожий на старого жирного бульдога — щеки свисали, затылок в складках, с губ, казалось, капает слюна, глазешки же — свиные, а наголо бритый череп напоминал отлакированное страусиное яйцо. Двое других судей — Матулевич с Иевлевым — отличались безликостью, даже походили друг на друга, как манекены в магазинных витринах. За две — без малого — недели процесса они помалкивали, точно и в самом деле безгласные манекены, сидели безучастно — вполне вероятно, им и предназначалась такая роль — членов коллегии, олицетворения демократичности процесса, не более. Судьи и секретарь — в военных френчах с высокими знаками различия, прокурор Вышинский в отменно сшитом костюме, уголок платка выглядывал из нагрудного кармана, поблескивал крахмальный пластрон белейшей сорочки. Адвокаты врачей — другие подсудимые от защитников отказались — Брауде и Коммодов выглядели, будто в чем-то провинились, и это заметил профессионально проницательный доктор Плетнев.

Начинался заключительный акт многолюдного спектакля.

Каморка в лазаретном лагерном бараке, отделенная от прочих помещений дощатой перегородкой, оклеенной газетами, чтобы не просматривались сквозь щели внутренней докторской опочивальни, — каморка эта выстлана вконец; на окошке, размером в тетрадный листок, начал замерзать лед, но жалкую норму дровишек Плетнев, занедужив, израсходовал с утра, теперь оставалось либо дрожать под арестантским одеялом и арестантским же бушлатом, либо перетащить — с подмогою — топчан к больным, в палату, слегка согреваемую дыханием и пердячим паром (эту лагерную лексику и еще

похлеще он давно усвоил, хотя и не употреблял), либо, наконец, надеяться на милость природы в лице работника КВЧ, культурно-воспитательной части, безунывного и пройдошистого Саши, — он принесет газету, доставляемую сюда с двухнедельным опозданием и, вероятно, прихватит малую толику щепок.

В палатах стонали, подскрикивали, кто-то, похоже, плакал, но к этому пришлось давно притерпеться, да и проку от визита доктора-зэка, в общем, не виделось: лекарства розданы с утра, так раз и навсегда распорядился начальник лазарета, всего лишь фельдшер, но зато в чине майора МВД, даже аптечку первой помощи он, уходя, запечатывал самолично, полагая, что любым лекарством при желании можно отравиться... Какой прок идти в палату, ничем не поможешь, разве только словом утешения, но сил не доставало, как и слов, он сам, перетянув за восемьдесят, доволакивал себя, понимая это и не делая ничего, чтобы оттянуть близкую и желанную кончину. Бессильное и потому бесполезное сострадание к людям и полное безразличие к себе — вот оно, его истекающее бытие...

Стемнело, жалко засветилась лампочка, но читать не хотелось, ничего не хотелось, кроме тепла, кроме скорой и по возможности безболезненной смерти. Если говорить правду, он такую смерть мог устроить себе, утаивая махонькие дозы морфия, пока не скопится нужное количество, но, жаждая кончины, он все-таки боялся ее и оправдывал себя тем, что нарушит Гиппократову клятву, отрывая от больных даже ничтожные миллиграммы лекарства...

В коридорчике послышался всегда странный, нездешний смех, обозначало сие без ошибки, что явился культурработник Саша, тоже, разумеется, зэк; есть категория людей, жизнерадостных изначально и неиссякаемо. У двери он смех притушил, постучал деликатно, выждал слабого отклика, втиснулся, заполняя каморку немелким и нетошим телом.

— Вот, — сказал Саша, протянув аккуратно сложенную газету, конечно, «Правду» и, конечно, двухнедельной давности. — Вот, — повторил он с несвойственной ему растерянностью и какой-то даже виноватостью, достал карманный фонарик, выданный ему на законных основаниях, поскольку он был зэком привилегированным. — Я вам подсвечу, Дмитрий Дмитрич...

Краткую заметку прочитать достало и трех минут.

— Господи, Боже ты мой, — сказал старик.

Он плакал, и Саша топтался у порожка.

— Я вам древец притащу, — сказал Саша. — А газету оставьте до утра, оно, конечно, вам интересней...

Значит, опять... Возвращается все на круги своя...

«Правда» была от 13 января 1953 года... Им приговор объявили 13 марта тридцать восьмого... Пятнадцать лет и два месяца...\*

С Андреем Януарьевичем Вышинским, произносившим в тот день обвинительную речь, доводилось зрелыми годами либеральному доктору Плетневу встречаться еще до Октябрьского переворота, когда немногие российские политические партии то искали содружества, то круто враждовали, то придерживались временного нейтралитета. Вышинский состоял — и не в самом последнем ряду — меньшевиком социал-демократом, доктор числился демократом конституционным — кадетом, и в пору так называемой банкетной кампании случалось им, преуспевающему присяжному поверенному и преуспевающему доктору, сживать за одним столом, принимать из рук одного лакея бокалы шампанского, обмениваться откровенными суждениями. Андрей Януарьевич отличался приятным, истинно петербургским воспитанием, хотя родом был, кажется, из Царства Польского; и столь же отменно воспитан был, как считали, Дмитрий Дмитриевич, но связывало их не это, а — пускай неполная, пускай спотычливая — гражданская позиция; соединяло взаимное уважение и сближала неприязнь к большевикам... Впрочем, баловство политикой — скорее дань моде, следование общему интеллигентному поветрию, нежели глубокая заинтересованность, баловство это прискучило доктору Плетневу, он от словоговорений отошел, Вышинского из виду потерял, слышал о нем мимоулетно, слушал без интереса, изумившись лишь однажды, когда узнал: Андрей Януарьевич, ярый противник бэков, то есть последователей Ленина, перекинулся в их

\* Недавно было объявлено, что доктор Д. Д. Плетнев вместе с известной эсеркой Марией Александровной Спиридоновой содержался в тюрьме г. Орла и при паническом отступлении наших войск наряду с другими политзаключенными был в 1941 году успешно расстрелян НКВД. Однако раньше ходила версия, согласно которой доктора Плетнева в начале 1950-х годов видели в лагере. Автор использовал эту версию.



лагерь и принялся делать карьеру. Что ж, подумал тогда Плетнев: не суди, да не судим будешь, тем паче и он сам, в своем деле знаток немалый, тоже ладил карьеру, не прилагая, правда, к тому даже мизерных усилий.

Столица государства, бывшего Российским, ныне Советским, переместилась в прежнюю первопрестольную, Питер опустел, пациентов почти не осталось, Плетнев перебрался в Москву, где, оказывается, его имя тоже знали многие. О кадетском его прошлом не вспоминали, да и то сказать, ничем он себя в той партии не проявил. И здесь Дмитрий Дмитриевич практиковал успешно, сторонился всего, что хоть как-то отдавало политикой. И однажды ему без обиняков посоветовали занять должность в кремлевской лечебнице, называемой в духе времени диковинным, нелепым сокращением—Лечсанупр Кремля. И, тешась под старость возбужденным негаданным честолюбием, Дмитрий Дмитриевич изъявил согласие, которого, понимал он, особенно и не требовалось: все решив загодя, власти знали и это.

Не прогадал ничуть. Частной практике не препятствовали, зато появилось твердое—и немалое—жалованье, появилась казенная квартира. И льстило, возвышалось в собственных глазах и в глазах ближних—беспрепятственное, в любой час дня и ночи право протелефонировать (не желал насиловать себя, употребляя нынешнее плебейское—позвонить) в правительственный гараж и вызвать, не объясняя причины, мотор (да, с милостивые государи, не машину и не авто!). Льстило, как порученцы властителей, а то и сами властители говорили в телефонную трубку, почти заискивая, точно здоровье их всецело и беспредельно зависело от него, доктора Плетнева, словно был он самим Господом Богом, и он, предполагаемый Господь от Медицины, предвкушал, как увидит их, по-старому ежели—министров—голыми, беспомощными, заискивающими, даже раболепными.

В стране, уже пронизываемой страхом, он чувствовал себя в безопасности, он, по-старинному, один из лейб-медиков, что пользовал Валериана Владимировича Куйбышева, Григория Константиновича Орджоникидзе (ту-манные слухи о самоубийстве Серго Орджоникидзе оставались слухами) и консультировал Алексея Максимо-вича Пешкова, как именовал себя в обиходе великий писатель.

С Максимом Горьким свел Плетнева — теперь уже профессора — доктор медицины Лев Григорьевич Левин, человек почтенный и годами, и положением. Правда, поговаривали, будто негласно сотрудничает в НКВД, однако недостойно интеллигента верить досужим сплетням. С доктором Левиным по лечебным делам Дмитрий Дмитриевич соприкасался не единожды, предложение стать одним из консультантов при Горьком опять-таки польстило, Алексей Максимович произвел впечатление самое благоприятное... И когда в семью Пешковых вломилась беда, самая ужасная, какая только может постигнуть пожилого человека — смерть взрослого сына, — Горький выдержал адову эту казнь... Но держаться ему осталось недолго; он также вскоре скончался.

Тогда вот Дмитрий Дмитриевич задумался о фатальности: Куйбышев, Орджоникидзе, двое Пешковых — не слишком ли много летальных исходов за два с небольшим года в нешироком кругу высокопоставленных пациентов? Доктор Левин, похоже, начал праздновать труса, уж слишком елейно для представителя врачебного клана звучал — показалось Плетневу, да и не только ему — составленный Львом Григорьевичем некролог. «Великие люди живут и умирают, как великие люди», — напечатал он о Горьком, сам факт подобного некролога уязвил Плетнева, ибо кончина больного всегда омрачает душу лекаря и о том не принято исповедоваться во всеуслышание. Но, в конце концов, каждый волен поступать сообразно собственным взглядам и характеру, винить Льва Григорьевича и его коллег — Плетнева и Игнатия Николаевича Казакова — никому не приходило на ум.

Беда обрушилась непредугаданно.

Поутру в домашнем кабинете за стенкой настырно, беспардонно затрезвонил телефон, домашние спали еще, пришлось подняться. Сняв с рогuleк трубку, он услышал незнакомый, радостно захлебистый голос: «Правду» читать изволили, сексуальный извращенец?!» На столь нелепую выходку отвечать, разумеется, не следовало, но Плетнев отозвался механически: «Вы ошиблись, вас соединили с другим абонентом...» Однако нелепая фраза чем-то встревожила, и доктор отомкнул почтовый ящик.

Ничего приметного за границами обычного не обнаружил он, оглядев первую страницу, однако, едва развер-

нул громоздкого формата лист, ударил — хлыстом по зрачкам — огромным черным шрифтом на три колонки заголовок: «ПРОФЕССОР — НАСИЛЬНИК, САДИСТ». И, словно тиснутая красным, собственная его фамилия, повторенная многократно... Он сел в прихожей на подставку для обуви и, придерживая ладонью осатанелое сердце, дальноторко отставив газету, читал о себе чудовищные, дурновонные, липкие слова, в какие не поверил бы, касайся они кого угодно, самого мелкого деревенского фельдшеришки, а тем более поверить не мог, поскольку относились они к известному, почти знаменитому профессору, лейб-медику, и уж кого-кого, а себя — то Дмитрий Дмитриевич знал...

Будучи кардиологом, а не специалистом по грудным заболеваниям, он в преступных целях, с заведомо злыми намерениями, говорилось в газете под названием «Правда», взялся лечить молодую женщину, в статье она была обозначена инициалом «Б». И однажды набросился на пациентку, зверски укусив обнаженную грудь, что обрекло несчастную на хроническую неизлечимую травму, а также отразилось на психике...

Стариковские слезы застилали глаза, сердце распространилось на всю грудную клетку, Дмитрий Дмитриевич вынудил себя подняться, его шатнуло; трудно прощаркал в кабинет, вместо нескольких капель плеснул из пузырька чуть не чайную ложку, переборщил, мимолетно подумал он, сердце может остановиться... Бог с ним... Все равно...

«Потрясающий человеческий документ» — вот как обозначили в «Правде» письмо той самой «Б», адресованное прямо ему: «Будьте прокляты, преступник, надругавшийся над моим телом! Будьте прокляты, садист, применивший ко мне свои гнусные извращения. Будьте прокляты, подлый преступник!..»

Господи, зачем это, почему, отчего, как теперь жить, куда укрыться... И сейчас проснутся домашние...

«Б», он помнил молодую эту красавицу, явилась с рекомендательным письмом давнего коллеги, умоляла, плакала, он отказывался, говорил, что не специалист в этой области, женщина пала в ноги, сулила непомерный гонорар... И от жалости, от неумения переносить женские слезы он согласился — таки, указал на ширму, но эта самая б..., он подумал сейчас заборным этим словом, лихо скинула платье, освободилась от лифчика, поднесла прекрасную, твердую на вид грудь с отчетливым сле-

дом укуса. Тут нужен прежде всего судебно-медицинский эксперт, подумал он и сказал это, но женщина упорно требовала помощи и, еще не чуждый влечению к молодому телу, он, старательно избегая прикосновения к груди прекрасной лепки, выписал какие-то лекарства...

И пошли газетные отклики, митинги в медицинских учреждениях чуть не всех городов, экстренные заседания врачебных обществ, собрания трудящихся — все клеймили, все забрасывали грязью, все требовали, все оскорбляли... И среди самых яростных обличителей были трое тех, чьи имена значились теперь в списке врачей-убийц в газете, лежащей перед заключенным доктором Плетневым...

...Его судили в июле 1937, приговорили к двум годам тюрьмы. Несколько месяцев спустя он предстал перед следователем как соучастник в убийстве Куйбышева и Максима Горького...

(А выводы медицинской экспертизы о смерти начальника ОГПУ Менжинского, ускоренной другими врачами, подписали двое из тех же, теперешних врачей-отравителей... Господи, Святый Боже, думал Плетнев, лежа в своей лазаретной камерке.)

Андрей Януарьевич Вышинский, Генеральный прокурор СССР, в обвинительной речи не употребил выразительных непечатных. Но едва ли, думал Плетнев, когда-нибудь и где-либо в цивилизованном государстве, в обстановке суда, коему придали облик, освященный традициями еще римского права, — едва ли речи произносились в таком тоне, духе и стиле.

Почти не вдумываясь в нелепо-чудовищный смысл — он сделался помятен и в ходе следствия, и на процессе, — Плетнев, как школяр, что ставит палочки на листе, подсчитывая слова-паразиты в речи учителя, и слышит только эти «так сказать», «значит», — так и подсудимый доктор Плетнев фиксировал лишь: разнузданные и подлые... звериное лицо разбойников... банда убийц и шпионов... гнусные... оголтелые... передовой отряд фашизма... ку-клукс-клановцы... отравители... нуды... шайка... Бухарин — проклятая помесь лисицы и свиньи, лицемер и иезуит... головорезы, хулиганы... вероломные двурушники...

Сидя во втором ряду позорных скамей, Плетнев ви-

дел, как вздрагивают, словно от хлыста, Бухарин, Рыков, Крестинский, как даже при восточной своей сдержанности Икрамов и Ходжаев поводят исхудалыми плечами, как умный европеец Христиан Георгиевич Раковский, поодаль Плетнева, подергивает шуплыми усиками, как ерзает на скамье, норовя перебить прокурора, нагловатый Максимов-Диковский... Разве что Зубарев, объявленный еще и агентом царской охраны — словно прочих статей не хватало, — сидел пришибленный, понурый; разве что доктор Левин, теперь для всех подсудимых беспорный служитель НКВД, трусовато пыжился в расчете на сребреники хотя бы в виде тюремного срока вместо почти уже очевидного расстрела.

Кажется, речь близилась к финалу, и сперва с удивлением, а затем с радостью, жалкой и постыдной, Дмитрий Дмитриевич сообразил: его, Плетнева, имя ни разу не упомянуто, не упомянуто, не упомянуто Вышинским! Еле сдерживая усилием воли радость и чувство вины перед остальными — его обдавало то холодом, то жаром, — доктор виновато ежился: стать бы меньше и незаметней, спрятаться, как в детстве, под скамейку, чтобы прокурор не видел его, забыл о нем и чтоб не видели, забыли, не выкрикнули, не напомнили Вышинскому судьи или сопроцессники...

Но радость оказалась преждевременной, следом за Левиным в перечне «специально подготовленной банды убийц» был назван и он; теперь Плетнев вникал всем существом, ловил каждый оттенок и опять с удивлением и почти восторгом обнаружил, что Вышинский сказал о нем всего лишь трижды, притом без грубостей, не выделяя особо, и главную вину за убийство Горького возложил на Левина... Дмитрий Дмитриевич подавил вздох облегчения.

Опять впал в уныние, когда услышал, что прокурор предлагает смягчить наказание лишь двоим — Раковскому и Бессонову, значит... И, обостренно внимая, отыскивая в словах обвинителя сущие и желаемые оттенки, он все-таки отыскал, обнаружил лазейку, некий намек на снисхождение: с актерским пафосом зывал Вышинский от имени народа — расстрелять, как поганых псов, раздавить проклятую гадину! Но не было в этих фразах, отсутствовало одно слово: всех, то есть расстрелять всех, — этого не было сказано. Хотя, возможно, Вышинский опускал Раковского и Бессонова, исключив их сразу из списка подлежащих казни, но как знать,

а вдруг, а если... Тем более что о нем, Плетневе, говорил Андрей Януарьевич (он мысленно так и назвал, по имени-отчеству, словно намекая на прежние отношения) сдержанно, без ярости, без оскорблений...

В перерыве в комнате, где ждали приговора, их покормили нетюремным, приличным обедом, Плетнев старался держаться в сторонке, отвечал односложно; впрочем, и остальные не отличались общительностью. Дмитрий Дмитриевич впервые подумал о несущественном, неглавном: а ведь многие из них — в отличие от него — до недавнего времени встречались с Вышинским в деловой и неделовой обстановке, пили вино, слушали музыку, приволакивались за дамами; а от Бухарина и Рыкова, когда те были членами Политбюро, Генеральный прокурор зависел по службе — не потому ли с такой яростью он атаковал здесь именно их? Говорят, думал Плетнев, почти ко всем обвиняемым применяли то, что называлось специальной обработкой — били, делали какие-то инъекции препаратов, неведомых обычным врачам; разработанных в лабораториях НКВД... Его, Плетнева, не мучили, но разве не было той же спецобработкой унижайшее обвинение в садизме, разве не для того, догадался он уже в тюрьме, его судили, его ломали, чтобы получить в этом, теперешнем процессе еще одного статиста, лицедея, одного из лицедеев... Да, разумеется, лицедея, потому что искренне признать себя виновными в чудовищных поклёпах и наветах, в дичайшей уголовщине они, разумеется, не могли...

Масляным, как бы отеческим, нет, скорее проповедническим голосом жирный Ульрих, тяжело опершись мягкими ладонями о стол, зачитывал приговор, и опять Дмитрий Дмитриевич с надеждою и стыдом отметил свое имя только в общем списке, и еще — в связи с умерщвлением Горького; после началась резолютивная часть, подсудимых перечисляли в изначальном установленном порядке, но пропустили сначала Раковского, потом Бессонова; потом, в свой черед, назвали докторов Левина и Казакова; Дмитрию Дмитриевичу опять захотелось исчезнуть, раствориться, обратиться в невидимку — и, выслушав беспощадно краткое «к высшей мере уголовного наказания — расстрелу», он осознал почти в беспамятстве, что к нему это уже не относится наверняка, и услышал:

«Плетнева Дмитрия Дмитриевича как не принимающего непосредственного активного участия в умерщвлении тт. В. В. Куйбышева и А. М. Горького, хотя и содействовавшего этому преступлению, — к тюремному заключению на двадцать пять лет с поражением в политических правах на пять лет по отбытии тюремного заключения и с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества...»

И небесная музыка вознеслась под сводом Октябрьского зала Дома Союзов, и, кажется, Плетнев не удержал постыдной улыбки. И, конечно, в эту минуту не подсчитал, что ему через двадцать пять лет должно исполниться девяносто — до такого возраста, до свободы он почти наверняка не доживет...

Ждали конвоя в комнате за сценой, и кто-то за спиной прошипел: «Чему радуешься, старый дурак, подумал бы — где тебе, сморчок, протянуть столько». Плетнев заплакал. «Стыдно», — сказал тому, неугаданному, Крестинский Николай Николаевич и то же самое повторил Розенгольц... А Бухарин пожал руку, сказал: «Все-таки это жизнь, Дмитрий Дмитриевич...» Приговоренные тоже к тюрьме Раковский и Бессонов смотрели на всех виновато, а Левин открыто плакал и твердил: «Они же обещали, они обещали...»

А сейчас заканчивался январь 1953 года... Газета лежала на тумбочке в холодной каморке. Плетнев не спал...

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Устроив себе неплановый выходной, отдохнув на морозце, услышав от домашнего врача после каждодневного осмотра, что сердце, легкие, печень в полном порядке, почти избавившись — на время, но все-таки — от привычной боли в руке, он съел стандартный, неменяемый даже при гостях обед (щи, гречневая каша с отварным, от первого блюда, куском говядины), запил боржоми, слегка подкрашенным вином, походил по кабинету и удивил порученца неожиданным заданием...

Неожиданность заключалась не в том, что велено было послать в Публичную (в отличие от всех москвичей он звал только так, а не Ленинская) библиотеку —

это делалось часто, — нежданной оказалась книга, без указания автора и точного заглавия, только тема, да и она обозначена лишь приблизительно: о формах и методах подготовки и проведения массовых народных празднеств и гуляний.

Внешние проявления эмоций перед Ним — исключались, генерал записал, и минуты две-три спустя Он услышал, как зашумел всегда включенный на малых оборотах мотор дежурной машины, мягко пророкотали створки металлических ворот. Он представил, какой переполох поднимется в библиотеке, когда явится многозначительно молчаливый полковник ГБ, засуматошатся, подобно муравьям, десятки библиотечных барышень, забегают вдоль каталогов и стеллажей, выхватывая более или менее подходящее и сомневаясь, то ли это, что нужно, и не отваживаясь послать несколько на выбор, и боясь не угодить, и прикидывая, не грозит ли автору какая-то опасность, и норовя потому на всякий случай отыскать автора, уже покойного... Слегка повеселив себя придуманной, однако вполне правдоподобной сценой, он подсел к камину и прикрыл глаза, лишний раз оберегая их от света, как берег он каждую часть и каждый орган поношенного стариковского тела.

Веря в безграничную власть и силу собственной воли, он давно поставил прожить до девяноста лет, не меньше, чтобы исполнить только ему одному ведомые и ему одному посильные планы, прожить девяносто, однако и не больше, ибо сделаться развалиной и маразматиком отнюдь не желал. Срок земного существования он определил себе давно, когда завершились индустриализация и коллективизация, когда он объявил социализм построенным и, не спеша обнародовать, лелеял в мыслях далеко идущие планы. О назначенном себе пределе он даже имел редкую неосторожность, уже после войны, сказать — с легким оттенком шутливости — в обычном мужском застолье. Все притихли, так и не научившись распознавать, когда он подтрунивает, а когда говорит серьезно. Он помедлил тогда, спросил: «Что, испугались, голубчики, не желаете доброго здравия великому вождю и учителю?» Пародировать лозунги в свою честь и собственные официальные титулы он любил, это почему-то его забавляло и тешило. Шутливый — теперь очевидно — тон подхватил Берня: «Как говорят в Китае, десять тысяч лет Верховному!» Подразумевалось — вроде «Главнокомандующему», однако можно



было подставить и другое — «Божеству». Верховный милостиво кивнул, поднял бокал, напряженность миновала.

В ту же ночь он испугался: напрасно сболтнул, могут ведь и управиться с ним, сговориться, подослать, подсыпать, подстроить. Преодолевая страх, владевший им постоянно и временами обостренный до ужаса, он угрюмо отсиживался в Кунцеве несколько дней, а после позвал всех на ужин и за столом, в томительной тишине огласил якобы услышанный им анекдот (все понимали, что анекдоты про себя слышать он не мог и если в минуту веселую или, напротив, грозную и рассказывал, то анекдоты, придуманные им самим; именовал он себя в анекдотах — как, впрочем, и нередко в статьях и речах — в третьем лице, товарищем Сталиным). На сей раз анекдот был такой.

Товарищ Сталин вызвал Молотова. «Слушай, Вячеслав, вот Каганович утверждает, будто бы ты заикаешься». — «Я и в самом деле заикаюсь, т-товарищ Сталин». — «Да, но почему это Лазарь так усиленно подчеркивает? Иди, подумай». После вытребовал Кагановича: «Знаешь, а вот Молотов говорит: ты еврей». — «Так я и есть еврей». — «Верно, только неясно, чего ради он всюду о том болтает. Прикинь, пошевели мозгами».

Рассказав, он мрачно всех оглядел. Никто не улыбнулся. «Не смешно?» — спросил он. Тогда моментально растянул губы самый трусливый и безликий — Шверник, за ним, ничего по глухоте почти не разобрав, засиял Андреев, нарочито, по-солдатски захохотал Ворошилов.

«И вовсе не смешно», — сказал Сталин. Все притихли... Ничтожества, подумал он, бестолочи, пешки...

Перебирая иногда в памяти тех, кто был уничтожен по его приказу (или просто намеку на приказ), он чаще других думал об Алексее Сванидзе, Алеше Сванидзе, единственном, кроме дочери, кого он любил и о смерти которого жалел.

Ни первую свою жену Екатерину Сванидзе (сестру Алешу), ни сына Якова, рожденного, понятно, в законном браке, которого он воспринимал, однако, ее сыном, но не своим; ни пьяницу-сапожника отца; ни рассудительно-спокойную, лишенную человеческих страстей мать; ни шалопая Ваську, готового прыгнуть в огонь по мановению отцовского пальца; ни его мать, Надежду Аллилуеву, не любил он, только Светлану и Алешу.

Но Светлана, повзрослев, отошла, замкнулась, поселилась отдельно в Доме правительства на Берсеневской набережной... Надежда, пусть и не любимая, но все-таки необходимая, предала его, покончив самоубийством, предала, покинула, оставила одного... И Алеша предал, став под расстрел, предал, ибо ведь Он распорядился через Берию (или Ежова, не вспомнить уж): пускай Сванидзе попросит прощения, докажет свою преданность, и Он простит. Но Сванидзе — ишь, какой гордый! — отказался и отправился вослед за такими же кретинами, не бравшими на себя никакой вины...

А как славно бывало с Алешей! Был на семь лет моложе, но разница не ощущалась, как не замечалась и разница в образовании: Алеша прошел курс историко-филологического факультета в Германии, в Йенском университете. Он был умен, образован, талантлив, занимался историей Древнего Востока, печатал научные труды, был притом прекрасным работником на ответственных постах. Алеша был полной противоположностью Ему — всегда в ровном расположении духа, всегда готовый к шутке, к розыгрышу и к серьезному, откровенному разговору, без недомолвок, без глядения в рот, заискивания, подобострастия. Он верил Алеше больше, чем себе, за собою зная и вспыльчивость, и дурной характер, и бешеную несправедливость... Но доложили, что Сванидзе, пользуясь доверием товарища Сталина, продался фашистам, сделался агентом — и не оставалось ничего иного, как арестовать его. Однако в последнюю минуту, когда принесли на утверждение список подлежащих казни, велел передать Алеше о возможном прощении, а тот... Что поделаешь, в политической борьбе нет места слабостям, нет места поблажкам, личным чувствам... Любви.

В любви ему клялись индивидуально, коллективно, всенародно; устно, письменно, печатно; возвышенно и сляуяво; раболепно и правдиво; корявыми фразами и отточенными стихами; клялись в любви кинолентами, спектаклями, живописными полотнами, скульптурами; начертанными повсюду лозунгами; гимнами, торжественными обязательствами, детскими клятвами — он знал: все это ложь. «Пускай не любят, лишь бы боялись», — сказал как-то римский писатель, кажется, Акций; это любил повторять император Калигула. И в том — правда. Любовь — неустойчива, переменчива, проходящая; любовь между мужчиной и женщиной — только

облаченная в красивые слова похоть; любовь к правителю в конечном счете — плата за благодеяния, которые другой господин легко заменит подачками еще более дорогими и лестными, а следовательно, вызовет к себе любовь еще более сильную. В итоге же так называемая любовь к Правителю есть лишь замаскированный страх, не более того. А там, где страх, — там нет места любви, там есть лишь ненависть, ее надлежит давить с помощью того же страха, таков замкнутый круг... Нечто вроде гомеопатии: подобное лечить подобным...

Страх был свойствен и ему, он это понимал, но и отдавал себе отчет в том, что его страх — иного рода, порожден опасением лишиться единственного, что теперь по-настоящему ценил он, — возможности властвовать самодержжно, бесконтрольно, неограниченно; и де-тищем его страха была не панически сокрытая ненависть, но холодная, спокойная и осмысленная жестокость, холодная настолько, что лишь кивком головы, росчерком пера, даже молчанием он посылал на казнь тех, кто был, мог быть или казался опасным, посылал на смерть, не испытывая презрения, гнева, ненависти, — только трезвый расчет: нужно, требуется, необходимо.

С той же осмысленностью необходимости, неизбежности, никем, кроме него, не понимаемой, карал он и целые народы, всех этих поволжских немцев, а после — степных калмыков, крымских татар, караимов, чеченцев, ингушей, балкарцев, кого там еще...

Не шовинизм, не, Боже упаси, национализм руководил им. Немцев Поволжья спровадил подальше в порядке превентивном — гитлеровцы рвались вперед, пятой колонны дожидаться не годилось. А остальные... Остальные, на кого обрушилась его тяжкая, но притом не гневная длань, поехали в места отдаленные вовсе не потому, что были так уж плохи сами по себе, хуже других, просто — так надо было. Он говорил истинную, объективную правду, когда заявил, что провалились расчеты Гитлера на драчку между народами нашей страны; и не солгал, утверждая, что война привела к небывалому морально-политическому единству советского общества. И, когда вблизи стала призывно и очевидно маячить победа, он понял: это единство основано, конечно, тоже на страхе, но не перед Ним, а перед внешним — всем очевидно — беспощадным врагом, и единство это надобно сохранить, потому что, если оно развалится, в драчке придет конец и Его власти. Даже пус-

кай не драчка, пускай только стремление к самостоятельности, к истинному равноправию, все равно — это не годится, это угрожает Ему. Значит, нужны снова превентивные меры. А выбор подвергнутых депортации, в общем, был случаен: предатели были среди любых народов, он выбрал тех, что поменьше, что подальше от русских, основных... Он с великой радостью вышиб бы в Сибирь украинцев, но тех было слишком много...

Но и этого показалось недостаточно.

Человек по сути малообразованный, тем не менее он достаточно знал историю Государства Российского. Он, конечно, помнил, что послужило непосредственным толчком к возникновению обществ вольнолюбцев, ставших впоследствии декабристами; он высоко ценил Ивана Грозного; он прекрасно понимал, почему Екатерина Вторая сказала о Радищеве, дескать, бунтовщик хуже Пугачева. Он соглашался — молча, тайно — с известной формулой насчет врагов внутренних и внешних, полагая, что внешние враги разнообразны, внутренние же в России это извечно — жида и студенту; под студентами имелась в виду интеллигенция, и не только молодая.

Интеллигентов он, завидуя, не любил еще с юных лет; их он помянул недобром в самом начале войны, обзвав перепуганными интеллигентами, сокрушать принялся тотчас после победы... Но в нем жил страх, сделанного казалось недостаточно. И, следовательно, оставались — жида.

Дежурный генерал постучался осторожно, получил разрешение, положил на стол, не решаясь приблизиться и отдать в руки, пакет, опечатанный сургучом, как и все — даже самые безвинные — пакеты, доставляемые сюда.

— Ваше приказание выполнено, товарищ Сталин, — доложил он, внутренне, как всегда, спотыкаясь на обращении: согласно уставу полагалось, конечно, именовать — товарищ Генералиссимус Советского Союза... Но товарищ Сталин не признавал иных обращений, кроме общего. По имени-отчеству звать дозволялось лишь немногим. И лишь считанные единицы теперь еще могли называть его давней подпольной кличкой Коба.

— Распечатайте, — приказал Сталин.

«Народные праздники и массовые театрализованные

действия» — называлась книга. Советское издание. То, что надо. Автор — какой-то Кугельман... Это хорошо, что Кугельман...

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Врача-академика с редкой, странной фамилией Мойся, унаследованной от еврейских местечковых предков, возвращали с допроса.

Его волокли по низким, почти квадратным в сечении коридорам, они причудливо змеились, делались то прямыми, то изломанными под неверными углами, то вдруг искривлялись, выгибались дугой; стены сближались неотвратно, казалось, вот-вот они соприкоснутся, раздавят, превратят в кровавую лепешку; но, едва коснувшись истерзанного тела, стены поспешно пятились, прыдали куда-то прочь, их выпуклости делались вогнутыми; стены вырастали ввысь, терялись в черноте, а может быть, они углублялись и тьма была внизу? Лампы, несчетные, разбросанные кое-как, непрерывно, безостановочно меняли цвет — зеленые, желтые, багровые, белые, синие, фиолетовые, опять синие, оранжевые, то в полоску, то пятнами; они менялись размерами — от чуть ли не микроскопических, тех, что применяют в медицине, до почти прожекторных; они отличались неустойчивостью формы — каплевидные, шарообразные, трубчатые, плоские, кубические, спиральные, змееподобные; они звучали — скрежетали, взвизгивали, трубили, гудели, даже мяукали; от них воняло сероводородом и благоухало тончайшими духами, они отравляли воздух трупными миазмами и сочились ароматами весеннего луга; они подмигивали, мерцали, разливали ровный лабораторный свет, они лупили с размаху по глазам прямыми, точно штырь, лучами, гасли, оглушая мглой, вспыхивали шаровыми молниями; они падали, звенели осколками, воссоздавались вновь сами по себе...

Гориллоподобные охранники, еще два часа назад подтянутые, стройные юноши, волокли его, ухватив под руки, а ноги волочились по каменным плитам, словно у паралитика, ноги волочились, цеплялись за малейшую неровность, ступни подскакивали, осеченные болью. Кровь лилась отовсюду, откуда только могла течь, — из ноздрей, ушей, рта, мочеиспускательного канала, анального отверстия, даже из-под век; ее было так обильно,

что позади она покрывала каменные плиты сплошным слоем, похожим, наверное, на ковровую дорожку; она хлестала потоками, несоразмерными ни отверстиям, откуда она покидала хилое тело, ни количеству, данному природой любому человеку, но ведь здесь ничего человеческого и не существовало, ведь ни гориллоподобные стройные юноши, ни сам он, влачимый с допроса, ни следователь — каждый по-своему не были, конечно, людьми.

Обрывки, ключья ускользающего, меркнувшего сознания — то ли здесь было, на допросе, то ли там, в коридоре... Нет, наоборот: здесь — коридор, там — допрос... Неважно!.. Ускользает... Обрывки, ключья...

Нет, нет, нет!.. Никто из нас... Ах, никто!.. У-у, гадина, мы все знаем... Нет, не я, только не я... А кто? ..Не знаю... Не знаешь, сволочь, ну получай... Нет, вы правы, я Меер... То-то же... Да, я не Мирон Семенович, я — Вершинин, да, я — Вершинин, нет, это он, он, Вершинин... А раскололся, падла, значит, Вершинин во всем... Нет, нет, я не Вершинин, я Мойся, академик, я никого... Никого, сука? А Вершинин?.. Не знаю, я генерал, стать смирно... Я тебе стану... А я на самом деле и не Меер, не Мойся, я ворон, а не мельник... Какой еще там мельник, из вашей банды?.. Да, он, он под кличкой Мельник, он, Вершинин, не надо меня бить... Не будем, вон плевательница, суй морду туда...

Его волокли по тщательно вымытым плитам коридора, ровно светили голые стандартные лампы под потолком, ноги подгибались, держали плохо, поэтому его и волокли, взяв под мышки, двое стройных, совсем не гориллоподобных юношей, он попросил остановиться на полминутки, даже дали платок, приложил к носу, посмотрел — чисто, ни капельки крови. Да и откуда ей быть, если охаживали какой-то матерчатой колбасой, наполненной, похоже, песком, отбивали почки, ударили по мошонке, лупцевали по животу, нет ни ран, ни синяков, ни кровоподтеков.

Сознание вернулось. Боже мой, простите, Василий Николаевич, я, кажется, упоминал вас, академика Вершинина, простите, многоуважаемый коллега, я потерял рассудок, но я, поверьте, не сказал им ничего дурного про вас, да и что я, собственно, мог им сказать на их

бред, они же параноики с характерными симптомами, они фашисты...

Нет, нет, господа солдаты, я не подумал про фашистов, как вы можете предположить такое... Я думал о товарище Сталине, я всегда о товарище Сталине...

— Да здравствует великий вождь товарищ Сталин! — кричал он в гулком коридоре, где вообще не полагалось кричать, и тем же платком, что сжимал он в руке, — заткнули рот, ладонью тренированно ударили под колени, сшибли, поволокли тряпичным кулем по залитому кровью полу, кровь надвигалась потоком спереди, по ней гладко и приятно идти, ползти, волочиться, по этой бархатной дорожке, и какой дивный здесь, в прекрасном коридоре, свет... И какие умные, остроумные люди; утром вошел в камеру надзиратель, выкликнул: кто здесь на букву «МЫ»? И следом за каким-то Мироновым откликнулся он, Мойся... И надзиратель, ах как изящно, сказал: мойся, говоришь? Вот мы тебя и умем, пархатая харя... И Вершинин мне пожал тихонько руку, когда выводили... Он, он всему виной, проклятый фашист Вершинин, фашист хренов... Он, честное слово, товарищи красноармейцы, ваши превосходительства, господа рядовые, я это утверждаю с полной ответственностью, я — не как-нибудь, я — генерал-майор медицинской службы, пархатый жид, заслуженный деятель науки РСФСР, России, проданной мною, я — бывший главный специалист Красной Армии всю войну, и войну развязал я, профессор Мойся Меер Соломонович, развязал по сговору с многоуважаемым фюрером, хайль! Смерть жидам, спасай Россию! Вы еще возражаете, пархатый Вершинин Василий Николаевич, а может, не Василий вы, а Дон Базилио, бразильский почтальон? Или вы — Баська, шлюха с Молдаванки? Хайль! Ур-ра! Эс лебэ!

Дверь громыхнула, от сильного толчка в спину Меер Соломонович едва не хлопнулся, но Вершинин успел его подхватить. Мойсю шатало, и, покачавшись на шатких ногах, он сперва поглядел мутно, после осмысленно сказал:

— Покорнейше извинения прошу, если можете, Василий Николаевич.

— Вы... Вы о чем? — дивясь и пугаясь, пробормотал Вершинин. — О чем вы, Мирон Семенович, благослови

вас Бог? Разве вы меня затруднили хоть чем-то, я просто поддержал вас за руку, покорнейше прошу извинить, если я причинил вам боль...

— Нет, я не о том, вы меня поняли неверно, многоуважаемый коллега... Это я должен просить... Впрочем, знаете, просил бы вас покорнейше впредь называть меня так, как в документах, я не Мирон Семенович, я — Меер Соломонович...

— Да что вы, в самом деле, Мирон... Хорошо, Меер Соломонович... Да что с вами, голубчик?

— Я ворон, а не мельник! — речитативом спел академик Мойся, пал на четвереньки, шустро перебирая руками, приволакивая бессильные ноги, пополз, так воя, что камера смолкла.

— Оклемается, — профессионально заверил какой-то урка. — С ними, тилигентами, бывает.

И, уцепившись за слово «тилигент», прочастушил старое:

Бом-бом, тили-тили,  
Нашу маму сократили.

— Тили-тили-тили-генты! — радостно закончил он.

Офицеры государственной безопасности — их временно втиснули сюда, в камеру, чтобы докладывали о врачах-убийцах и дополнительно воздействовали на их психику, — роли уркаганов играли хорошо, профессионально.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Вас приглашает товарищ Рюмин, сказала трубка, не поясняя, кто есть товарищ Рюмин, — фамилия заместителя Берии каждому известна; нет, машину присылаем свою; нет, никаких отчетных материалов и проектов не требуется; документы, удостоверяющие личность, необязательны; спасибо, ваш подъезд знаем; не откажите в любезности через пятнадцать минут быть внизу; номер машины записывать необязательно, вас знают в лицо; да, и, пожалуйста, воздержитесь сообщать сослуживцам, ваше руководство поставлено в известность; же не тоже нежелательно; спасибо, итак, через пятнадцать, нет, уже через двенадцать минут...



Трубка загудела, он из горлышка выпил противного теплого нарзана, принялся бесцельно выдвигать ящики письменного стола, распахнул сейф, неосмысленно переложил в нем бумаги, окинул стены, увешанные ватманами, понял бесполезность этого досмотра — кто их знает, чем заинтересуются, если придут в его отсутствие — и, запершись изнутри, словно это гарантировало от прослушивания телефона, торопливо набрал домашний номер. Телефон отозвался глухой немотой. С женой он говорил полчаса назад, связь работала исправно. В бюро поврежденных звонить не решился, да и время истекало. Он быстро написал несколько слов, запечатал в конверт, адресовал жене, подумал секунду, порвал, сжег в пепельнице, размял черные невесомые лохмотки.

Лифт не спускался, он падал, стремительно и нескончаемо, хотелось, чтобы падение длилось бесконечно, до самого смертного часа, либо, подумал он, лучше бы конец настиг его здесь, в деревянной зашарпанной кабине, нежели там... Лифт, однако, остановился, и следовало идти навстречу Судьбе.

Едва он вытолкнул себя на крыльцо, подкатила машина, то была обыкновенная «эмочка» довоенного образца, даже не теперешняя «Победа», это обстоятельство почему-то успокоило. Несуетно, достойно вышел штатский, протянул руку, не спрашивая фамилии, сам не назвался. Усадил на заднее сиденье, сам расположился наискосок спереди. Стекла не были завешены. Ехали молча.

Его, приглашенного, вели по глухому, без окон коридору, один из сопровождавших шел рядом, другой слегка позади, но только слегка — то ли провожатые, то ли конвой. Глуша смятение, он вглядывался. Ковровая дорожка — не одноцветная, с продольной каймой, а украшена орнаментом; отлично поставлено освещение, люминесцентные лампы скрыты козырьками под самым потолком, бесшумны в отличие от большинства, которые отвратительно гудят. На стенах — не портреты вождей, не батальные сцены, а нормальные пейзажи, натюрморты, кажется, подлинники. И вид столь мирного, со вкусом оформленного коридора окончательно успокоил его.

Такой же была и просторная приемная. О нем доложили сразу. Импозантный красавец генерал, вполне натурально улыбаясь, встречал посередине светлого кабинета, протянул уверенную руку, обратился по имени-

отчеству (не сказав, однако, своих, как и тот, что вез), проговорил с естественной, почти приятельской непринужденностью:

— Рад познакомиться лично с таким прекрасным мастером, да еще вдобавок Главным художником столицы.

— Извините, вы ошибаетесь, — робея, отвечал приглашенный, — я всего-навсего начальник отдела наружного оформления... При горкомхозе...

— Ай-ай, — сочувственно и укоризненно сказал Рюмин. — Плохо работает ваша, извините, контора, неужели вас еще не поздравили? Ваш отдел выделен в самостоятельное управление, вы становитесь Главным художником Москвы, на равных правах с Главным архитектором. Рад, что, оказывается, первым сообщаю вам приятную новость. Прошу... Чай, кофе, коньяк? Или, грешные, по такому случаю — рюмашечку натуральной, российской?

Кино, подумал Художник, фантазмагория, бред, миф, ненаучная фантастика, вот сейчас нажмет кнопку или позвонит и будет тебе кофе с коньяком.

Рюмин же и вправду нажал какую-то невидимую кнопку, одна из стальных дубовых панелей сдвинулась, обнаружив бар, вынул запотевшую бутылку водки, тарелку с разнообразными бутербродами, расстелил салфетку на столе у окна, пригласил.

— Ваше здоровье, — он чокнулся, вкусно крикнул, взял бутерброд с толстым брусочком икры. Художник выпил жадно, тотчас же спохватился: захмелеет, ослабнет, тогда вот его и...

— Да бросьте вы, — Рюмин дружески положил на его колено ладонь. — Комедии ломать мне, извините, положение не позволяет... Ничего решительно с вами не случится. Давайте пропустим еще по единой и потолкуем. И жене вы звонили напрасно, — добавил он.

Художник подумал: все знают, все... И каждую даже мысль улавливают...

— Спасибо, — неизвестно к чему сказал он и несмело провозгласил: — А теперь — за ваше здоровье...

Вскоре они сидели рядышком за другим столом, просторным, голым, и Рюмин, видно, что-то смысла в рисовании, бегло набрасывал нечто похожее на эскиз. Художник смотрел и слушал внимательно, пытаясь догадаться: почему для такой обыденной работы его следовало тащить сюда, почему удостоил этой сомнитель-

ной, а точнее, страшной чести сам Рюмин, с какой стати надо обсуждать теперь, когда до Первомайского праздника три с лишним месяца, а схема оформления Красной площади, в общем, повторялась из года в год... И при чем здесь МГБ? Но спрашивать у Рюмина, по всей вероятности, не полагалось — здесь спрашивали они, и Художник слушал, как школьник слушает убогие объяснения посредственного педагога. Умный Рюмин, кажется, и в самом деле читал мысли, дружелюбно засмеялся, молвил:

— Думаете небось: а чего ради мне таблицу умножения втолковывают? И правда, я что-то не туда загул, забыл, что разговариваю со специалистом... Извините...

И принес еще две наполненные рюмки с того, маленького столика.

— Бригада, — сказал Рюмин, — с вашего позволения, не слыше пяти человек, включая вас. И, если не возражаете, я бы попросил включить в бригаду ваших сотрудников товарищей Зусмана и Шмулевича. Не смею настаивать, это лишь просьба...

Странно, подумал Художник, из пятерых — трое нас, или спохватились, что перегнули с антисемитской кампанией, исправляют положение, или какая-то ловушка?

Он испугался этих мыслей: вдруг Рюмин и тут разгадает?

— Отличные мастера, — сказал он о Зусмане и Шмулевиче.

— Вот и зэр гут, — ответил Рюмин. — Задерживать не смею, еще раз поздравляю с назначением, желаю творческих успехов.

Проводив Художника к двери, Рюмин сказал в селектор:

— Наружное наблюдение за ним и прослушивание — круглосуточно.

В тот же день и примерно по такому же сценарию принимал Рюмин еще и главного режиссера одного из крупнейших театров. Тот был человек увлекающийся, умел мыслить масштабно, давно мечтал развернуться, жалуясь друзьям и даже труппе, что его талант зажимают мелкие чиновники от искусства. И предложение заместителя Берин принял восторженно, мигом сообразив, что действие развернется с таким размахом, какого

не выдвигали ни греки, ни римляне, ни парижане во времена их Великой Революции, ни германцы при Гитлере. Смысл постановки был не отчетлив, однако постановочный размах — невиданный, сказал обаятельный Рюмин, при оформлении сметы можно, в общем, не слишком ограничивать себя.

Тут же составили список постановочной группы из пятерых, причем по деликатному совету генерала двое оказались из числа тех, кого еще недавно бранили космополитами, но Режиссер, находясь в состоянии некоей эйфории, не придавал тому ни малого значения.

Дома он, хвастаясь перед женой, не обратил внимания, когда она сказала, что приходили с телефонной станции без вызова, в порядке профилактики, сами заменили аппарат на более современную модель. Что ж, это хорошо, сказал он мимоходом, не зная, что у аппарата есть особенность: вмонтировано приспособление, кое действует даже при не снятой с рычага трубке.

Возвращаясь на Родину в сороковом году, он, конечно, не мог быть уверен, что ему простят и давний-давний выход из партии, и фактическую эмиграцию; даже участие в Испанской войне (конечно, на стороне республиканцев) кое-кому обернулось бедой, награжденные, обласканные, после возвращения домой сразу очутились на Лубянке и бесследно исчезали; не был уверен, простят ли ему долгое общение с не нашими, «оторванность от советской действительности»; да и то, что ни единым словом, печатным, произнесенным ли вслух, не вознес он хвалы Великому Вождю, прославляемому в стране... Происходящее на Родине понять до конца не мог, на телефонные звонки взрослая дочь отвечала странно: вела длинные разговоры о московской погоде — в прямом смысле о погоде, — на расспросы о знакомых говорила что-то про их детишек, прикидывалась, будто забыла некоторые имена... Конечно, догадывался он о многом, не ведая подробностей, но и здесь оставаться не мог: как только Гитлер захватит европейскую страну, где он жил, участь евреев predetermined. И вот-вот фюрер грянет на Россию, и отсиживаться где бы то ни было — немисливо, надо разделить участь своего, русского народа, какой бы ни оказалась она...

Первые признаки страха они с женой ощутили, когда бойцы на пограничном контрольном пункте без церемоний шуровали по чемоданам, вываливали вещи на

вагонные диваны, когда вместе с багажом выводили на вокзал, в объяснения не вступали. Вот когда он порадовался, что основательно перебрал свои бумаги.

Все обошлось, хотя акклиматизация длилась трудно и обрел себя по-настоящему лишь с первых дней войны, страшной, заведомо долгой. Он ощутил себя нужным, работал на износ, редкий день газеты выходили без его статей, редкая неделя — без выступлений по радио. И не тщеславие, конечно, и не меркантильные соображения двигали тогда им, а — ненависть.

Фашизм, расизм, шовинизм, национализм стояли для него в одном, скотском, ряду, и он, рожденный евреем, по самосознанию русский, по воспитанию и культуре европеец, — не уставал развенчивать их: фашизм, национализм... Он лупил по стертым от непосильной нагрузки клавишам раздрызганной машинки, сунув в зубы погасшую трубку, машинка подпрыгивала и, казалось, дымилась, и раскаленными были строки, что двумя-тремя часами позже пойдут — без редакторской правки прямо на линотип, в ротацию, лягут в чрева самолетов, в тесные пространства вагонов, на конные упряжки, собачьи нарты, влетят в окопы, штабные блиндажи, лягут на стол Верховного, достигнут, переведенные, перепечатанные, фюрера — вот в этом заключался главный смысл жизни, ее содержание, ради одного этого стоило жить.

Война кончилась, и он долго еще не мог остыть, а после началось такое, что ввергло его в растерянность и недоумение. Он умолк, замкнулся; если в войну он понимал, что словом своим он помогает, притом помогает не кому-либо конкретному, а, думал он без ханжества, — народу, то сейчас никому помочь не в силах, и он молчал, замыкался, маялся бессонницей, постоянно ждал, когда придут и за ним, не ведая за собой никакой вины, однако ведь и остальные, кого травлили, кто исчезал бесследно, тоже не были виновны...

Он закрывался в кабинете, курил, читал, писал стихи. Его — не трогали, но кто мог предвидеть...

Приехав на представительском, длинном, семиместном «ЗИСе» — его вел шофер, за многие годы незримо для окружающих постепенно повышенный от лейтенанта госбезопасности до капитана, — Генеральный конструктор выслушал у входа рапорт старшего по охране,

козырнул с небрежной, властной уверенностью, прошел пустыми коридорами в кабинет.

Он любил приезжать к себе, в конструкторское бюро, до начала общего трудового дня, любил пройтись по этому светлому коридору, мимо застекленных дверей, мимо пустых комнат, представляя, как через полчаса комнаты заполнятся многими сотнями людей, таких разных и так одинаково подчиненных его воле, таланту, инициативе, беспрекословно подхватывающих его идеи, притом людей не безгласных, не усердных исполнителей, но воистину творческих. Он сумел внушить каждому — от своих заместителей до последних уборщиц и рассыльных — понимание сопричастности большому, государственному делу, всякий ощущал себя, пускай в малой степени, соавтором великолепных боевых машин, признанных лучшими в мире.

Сегодня предстояло ехать в Смольный на ответственное совещание, просили быть в мундире и при наградах. Генеральский мундир он надел полупарадный, отличающийся от полностью парадного тем, что украшали его не все награды, а лишь самые высокие — Звезда Героя и четыре медали лауреата Сталинской премии, а также значок депутата Верховного Совета СССР.

В кабинете, обставленном с воинской суровой простотой и деловой целесообразностью, он, пройдя в личную бытовку, сменил генеральское облачение на щеголеватую рабочую куртку, такие он ввел для всего инженерно-технического персонала. Она, будучи спецовкой, имела тем не менее погоны, правда, не золотистые, а зеленые, повседневные... Удобно, изящно, молодцевато и демократично. В этой куртке он чувствовал себя моложе своих сорока четырех лет.

На письменном, функционально пустом, удобном столе ждала папка с единственным плотным листом — перечень сегодняшних дел. И рядом — стопка газет, с них начинался день.

Первым делом, конечно, развернул «Правду», привычно, зная их систему расположения материала, посмотрел главное. Поморщился: каждый день одно и то же... В сотый раз повторяют формулировку указа: «За помощь, оказанную Правительству в деле разоблачения врачей-убийц...» Навязчивые эпитеты. Назойливые слюни: «русская женщина», «русская душа»... Была недавно обзорная статья: «Почта Лидии Тимашук» — те же сопли-вопли... Перепечатывали из французской «Се су-

ар» послание коммуниста Пьера Эрве: это дело врачей — не локальное явление, а результат давнего заговора... Может, и в самом деле заговор... Может, и убийцы... Ну так и судите их, но зачем прославлять доносчицу? Любое доносительство отвратительно. Если уж ты истинная патриотка и честнейшая душа, — ну и выступила бы на собрании, чего бояться... И эти восторженные письма... Опять-таки ладно, когда строчат люди недалёковидные, малообразованные, не мыслящие. Может, сами строчат, может, подписи только ставят... Но ведь пишут и ученые, академики даже, и деятели литературы, искусства, крупные военные — многие знакомы ему, настоящие интеллигенты, увенчанные званиями, титулами, наградами, — или не презирают стукачей, и чего уж им-то опасаться... Даже коли подсунут бумажку для подписи — ну и плюнь на нее, мы — верхушка, кто нас тронет. И нам ли, ученым, мешиваться в пропагандистскую кутерьму, нам ли суетиться в этой шумихе...

Конечно, кое-кого посадили, но тех, кто покрупней, держали недолго... Некоторые там умерли, однако могли ведь и своей смертью; а может, и в самом деле — вредителями были. А все-таки элиту почти не задело, он сам тому пример — в чинах, при орденах, окружен почетом и заботою... Да нам ли суетиться...

Он почти гадливо сложил газету, посмотрел остальные — то же самое, лишь имена под статейками другие... Хватит, время идет попусту.

Часы показывали восемь сорок семь, значит, сейчас без стука, по им установленному обычаю, войдет Елизавета Владимировна, секретарь-помощник, умна, образованна, безусловно надежна. С блокнотом и папкой бумаг на подпись.

Он застегнул рабочую куртку, швырнул газеты в корзину, сделал официально-приветливое, для Елизаветы Владимировны лицо; начинался рабочий день.

Елизавета Владимировна, конечно, возникла вовремя, но без блокнота и папки, поздоровалась растерянно, почему-то приблизилась вплотную и, чего не делала никогда, шепнула на ухо.

— Ну и что? — с некоторой раздражительностью спросил Генеральный. — Зовите.

Она пошла было к двери. Генеральному сделалось как-то не по себе. Остановил:

— Нет, минуточку.

И, обороняясь от еще неизвестно чего, надел в бытовке генеральский мундир.

— Просите, — сказал он.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Так и не уснув, доктор Плетнев из своего закутка вышел в коридор барака-лазарета, еле-еле освещенный дежурной лампочкой. Слышно было, как в четверть силы тукает электродвижок.

Санитар и дневальный сидели возле столика, хотя одному полагалось мирно спать, — больные по ночам редко тревожили персонал, понимая, что и они такие же зэки, им тоже достается, хотя и не столь хреново, как на общих работах.

Когда Плетнев — шаткий, в латаных-перелатанных валенках (подарок офицера, у чьей жены принимал роды), в накинутаю поверх неотстирываемого белья засаленном бушлате, — приблизился, оба встали, не потому, что этого требовала дисциплина, но из особого уважения к старику.

В сорок седьмом, когда вышел свирепый, как и большинство тогда, Указ об ответственности за расхищение социалистической собственности, у завмага сельпо Нури Закиева ревизия обнаружила недостачу — связку сыромятных ремешков для хомутных супоней. Ради наглядности и внушительности ремешки записали в акте не числом, а по длине — двести сорок метров. Нури получил десятку.

Отбыв половину срока, попал в беду: на лесоповале напоролся на острый шип кустарника, угодило в глаз. Ошеломленный болью, приложил тряпку, сломал при этом наружную часть шипа, в глазу остался малый кончик. Охранник смиловившись, отпустил — деваться в тайге все равно некуда, не смеется, — и Закиев побежал в зону, воя от страха и боли.

Через минуту в закуток доктора Плетнева явился верзила-староста уголовного барака; с деловитой краткостью — правда, все-таки замедленной неизбежными матюгами — выдал Дмитрию Дмитриевичу суть. Плетнев столь же кратко пояснил: он специалист по сердечным заболеваниям, надо везти в околодок к хирургу, на что староста молча достал незаконно хранимый нож,



показал. Пояснений не требовалось. Дмитрий Дмитриевич сказал, чтобы вели потерпевшего, притом непременно пятеро, а нож распорядился оставить. Староста принял оба распоряжения, кивнул.

Плетнев позвал из палаты старика крестьянина; тот умело, будто косу, отбил лезвие, направил на брезентовом ремне, получилось не хуже скальпеля. Будь что будет, думал Плетнев, отказался бы — ножик в печень, а так, глядишь...

Пришлось из наименееприкосновеннейшего — припрятанного от начальника лазарета — запаса налить полкружки спирта, и староста вместе с четырьмя урками завистливо глядели, как Нури выдохнул, запил глотком воды, а затем верзила держал стриженую голову Закиева, четверо ухватились за руки-ноги. Дмитрий Дмитриевич мысленно перекрестился, сделал крохотный разрез, пинцетом вытащил обломышек. Если не задет нерв, подумал он, будет порядок, а если задет — скорее всего, слепота на оба глаза, и тогда неминуемо — в расход, кто станет держать здесь бесполезного инвалида...

Покуда Нури отлеживался, дружки-уголовники ведомыми путями — у них водились связи даже с администрацией — пристроили его санитаром в лазарет. Закиев оказался расторопным, смысленным, старательным, а Дмитрию Дмитриевичу повинился особенно беспркословно, как и второй из вроде бы подчиненных Плетневу, санитар Бертольд Северинович Либман.

Сорокалетний Либман родился в Польше, на медные гроши получил университетский медицинский диплом в Вене, с присоединением Западной Украины заведовал отделением областной больницы, с началом войны добровольно ушел в Красную Армию, дослужился до подполковника медицинской службы. Победу встретил в милой ему Вене, и на третий день после громовых салютов очутился за решеткой камеры СМЕРШа, грозной армейской контрразведки «Смерть шпионам», был крепко и умело изморожан, подписал протокол о том, что добровольцем стал с вражескими целями, ибо тайно служил германским фашистам (он-то, еврей!) еще со студенческих времен; получил от чрезвычайной тройки вышку, неделю просидел в одиночке смертника, негданно был осчастливлен заменой смертной казни пятнадцатью годами лагеря с последующей вечной ссылкой, доходил здесь, на лесоповале, покуда, полумертво-

го от истощения (норму он выполнять не мог и пайку получал соответственно), его не вызволил доктор Плетнев, уговорил начальника санчасти взять Либмана в санитары, прогнав с этой должности тупого урку... Лысоватый тихий Либман, понятно, оказался божьим подарочком: отменный терапевт, он фактически выполнял обязанности врача...

Шаркая трепанями валенками, Плетнев приблизился, попросил коллег садиться (оба вежливо встали), взяв у Нури табачку. Давно следовало бросить курить, но Дмитрий Дмитриевич позволял себе изредка, приговаривая: «Пьешь — помрешь, и не пьешь — помрешь». Жить ему так и так оставалось чуть-чуть, восемьдесят лет — не шутки. Приговорив его к двадцати пяти, члены Военной коллегии проявили непомерный оптимизм, даруя тогда уже старому Плетневу как бы Мафусаилов век... Гуманность приговора выглядела, конечно, издевательски, однако прихоть судьбы непознаваема, Дмитрий Дмитриевич продолжал существовать, ему, как ни удивительно, скостили срок до либеральной десяти, отбытой во Владимирской тюрьме, а затем отправили сюда, пожизненно... Теперь он еле волочил ноги, не пытаясь хоть чем-то приостановить безусловно неизлечимую болезнь — старость. Лишь об одном попросил коллегу Либмана: когда финал станет очевидностью, ввести добротную дозу морфия и дать возможность спокойно отправиться ко Всевышнему... Умница Бертольд Северинович ханжой не был, слово дал...

Велев Закиеву поспать — сам он все равно уже не ляжет, — Дмитрий Дмитриевич молча протянул Либману «Правду». Пока тот при слабом свете разбирал текст, Плетнев навязчиво думал о том же, о чем думал с тех минут, когда Саша принес газету...

Всех, кажется, всех, перечисленных в сообщении об аресте, он знал, встречались на консилиумах, конференциях, юбилеях. А когда судили «профессора-садиста, насильника Плетнева», двое из теперешних убийц через газету заклеили Плетнева как «позор советской медицины».

Но больше всего поразило профессора, когда в другом, так называемом бухаринском процессе вторым медицинским экспертом был наипочтеннейший из всех теперешних убийц человек — и это он на вопрос,

можно ли считать метод лечения Горького вредительским, — ответил: «Да, безусловно можно». Безусловно! Плетневу тогда казалось: ослышался. Подумал: сейчас уважаемый коллега-профессор поднимется и скажет, что — недоразумение или что — вынудили, заставили подписать... Ничего такого не произошло. Тогда Плетнев подумал: а случись подобное со мной, нашел бы я в себе мужество воспротивиться, отказаться подписать акт экспертизы? И не ответил себе утвердительно. И пожалел сломленного, как и он сам, коллегу.

И сейчас не злорадство, не торжество — только жалость ко всем, в том числе к тем, что шельмовали его, — испытывал Плетнев, старый, больной, умудренный жестоким собственным опытом...

— Матка боска, то можно ли, — зашептал Либман, протирая очки.

— Можно, можно, все можно, — сказал Плетнев устало. — Вы — еврейский пособник Гитлера, я — убийца Горького, да еще и садист-насильник...

— Да, но мы с вами знаем — то ложь...

— А почему вы думаете, что с ними — не ложь, — сказал Плетнев. — Пойду сосну малость, подъем скоро.

На плацу глухо переговаривались, шаркали деревянные лопаты: в самом деле, близилось утро.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Честь и хвала на вечные времена славному декабристу Михаилу Александровичу Бестужеву!

В числе прочего и за то, что, сидячи в Алексеевском рavelине Петропавловской крепости, навек обогатил он человечество изобретением негромким — и даже в буквальном смысле негромким, — но таким, коему, бесспорно, и жизнью, и сохранением рассудка обязаны тысячи и тысячи российских заключенных. Изобретение это — тюремная азбука. Вот она:

А	Б	В	Г	Д
Е	Ж	З	И	К
Л	М	Н	О	П
Р	С	Т	У	Ф
Х	Ц	Ч	Ш	Щ
Ы	Ю	Я		

Предельно просто. И даже — хотя, понятно, лишь ради краткости — словно бы предвосхищены будущие реформы правописания: нет «і», нет «ятя». И нет мягкого и твердого знаков, «фиты», «э оборотного» — без них можно обойтись.

Сперва выстукивается номер строки, потом — номер буквы в строке.

Например, «кто вы» будет: 25-43-34 ... 13-61.

Привычное ухо воспринимает удары как буквы. После каждого слова слушающий дает один удар: понял.

Некоторые слова, часто употребляемые, выстукиваются сокращенно. Предлоги, всякие вводные слова — опускаются: краткость есть неременное условие...

Изобретение — на уровне гениального.

Тихо пролежав после допроса под нарами почти всю ночь — даже к параше не вылезал, — Меер Соломонович Мойся пришел наконец в себя, выполз, встряхнулся, стал долго и витиевато извиняться — пытался на ухо что-то объяснить. Вершинин прервал вежливо: не надо, Мирон Семесович... И обгорелой спичкой на пустом коробке изобразил бестужевскую азбуку, посоветовал вытвердить, а запись уничтожить...

Как в воду глядел.

Кто на букву «ве», откликнись... Так, Вершинин, с вещами... Кто на букву «мы»... Поторапливайся, поторапливайся...

Вели, завязав глаза, охранники поддерживали под руки, вели по коридорам, воняющим аммиаком, проявляли заботу: осторожно, здесь ступеньки; повороты, спуски, подъемы; дохнуло морозным воздухом, хлопнула дверь, снова завоняло клозетом, скрип, долой повязку, с новосельем тебя...

Вершинин огляделся — почти с любопытством. Гм, после общей камеры — не столь уж и дурно. Так, измерим. Семь шагов в длину, четыре — поперек. Откидная железная койка на день пристегнута к стене. В противоположную стену горизонтально врезана доска, пониже — такая же, только меньше, это металлические стол и стул. В углу — персональный унитаз. Окно — в половину газетного листа — под самым потолком, не дотянешься, потому и не закрыто снаружи козырьком. Водопровод+

ная раковина. Обмылышек — серый, трещиноватый... Вот и все...

На полку выложил зубной порошок (он дозволен, а вот щетка — нет, из нее можно выточить подобие ножа, вскрыть себе вены), табак, спички, два носовых платка. Иного имущества нет (полотенце казенное — на кране). Начинаем жить, подумал Вершинин. В отдельном номере. При всем необходимом для существования.

Дверной глазок не отворяли, он сел на доску-столик, спиной к выходу, черенком ложки постучал, потуковал, как выражались революционеры: 25-43-34... «Кто...» Сосед не откликнулся. Или его не было. Или не понял. Или боялся. Попробуем еще. 13-61... «вы»; «кто вы»... Молчание. В глазок не заглянули: то ли не слышат, то ли безразличны, если камеры по бокам пустуют. Отбарабанил те же цифры на противоположной стене. И почти сразу — ответные удары. 11-52-43. Чуть собачья: А-Ц-Т. Стучит наугад. Но и то ладно: за стенкой — живая душа. Может, со временем и уловит систему, если сообразительный.

Кинул окурочек в унитаз, постучал снова в левую стену: 1-1. Сделал паузу. Повторил. И еще повторил. И сосед откликнулся: 1-1... Ага, значит, что-то соображает. Дальше: 1-2... Тот повторил правильно. Дело пойдет. 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5. И долгая пауза. Отклик в правильном порядке. Затем сосед, помедлив, протуковал сам: 2-1. На редкость толковый человек! Получайте же: 2-2... Да, правильно. Однако на сегодня хватит, пускай осмыслит, убедится, что понял правильно.

Но кто же там? Если Мойся, то почему не назвал себя? Не успел выучить азбуку? Растерялся, действует механически, повторяя ряды цифр? И почему отмолчалась камера справа? И вообще — кого арестовали, неужели только их двоих?

В камере справа на обжигающе холодном и жестоко жестком полу валялся окровавленный, весь в обширных синяках, кровоподтеках, ссадинах, с тремя выбитыми старческими зубами, что еле держались в деснах — валялся ничком, в той позе, в какой свалили, — академик, заслуженный деятель науки, соученик Вершинина, знаменитый невропатолог Абрам Моисеевич Гутштейн. Его допрашивали всю ночь, приволокли словно куль... Он очнулся недавно и услышал тупые, оглушительные удары в стену, каждый удар бил кувалдой по, казалось,

обнаженному мозгу. Хотелось выть и плакать, он думал: и такую еще пытку придумали дополнительно, а удары обрушивались на обнаженный мозг, пока наконец Абрам Моисеевич опять не потерял сознания...

Слева занимал камеру врач не менее известный, хотя, в понятии Вершинина, молодой: его полувековой юбилей недавно отмечали, хорошо, торжественно и весело. Был он основателем одной из новых отраслей медицины, доктором наук. В войну служил сперва главным специалистом на разных фронтах, затем — в генеральском чине — заместителем Мирона Семеновича Мойси. Подтянутый крепыш, по виду — строевой командир, он, Петр Ильич Павлов, перейдя в Лечсанупр Кремля, не расставался с осыянным погонами кителем — кто-то подтрунивал дружески, а иные хихикали над странным для ученого пристрастием, цитировали слова грибоедовского Скалозуба насчет фельдфебеля в Вольтерах, но Павлов был необидчив.

Арестовали его — операцию осуществляли планово — в ту же ночь, что и Василия Николаевича Вершинина и остальных семерых, но Павлов сразу попал в одиночку и понятия не имел, схватили его одного или вкупе с кем-то. На допросы его, как и Вершинина, пока не таскали, решили начать с евреев, надеясь на их, как полагают здесь, слабость, на присущие евреям — в обостренной мере — родственные чувства (тут можно сыграть!), наконец, считая их изначально — трусами, хриstopродавцами, а также заведомо зная, что главными фигурами в процессе предстоит быть им, евреям, русские же пойдут для отвода глаз, для объективности.

Говорят, Менделеев систему химических элементов обдумывал много лет, а озарение пришло во сне — воочию он увидел всю таблицу разом. Точно так же, после часовой раздумья, Петр Ильич живо представил тюремную азбуку, а теперь, после упорного повторения соседом коротких, в некоей последовательности ударов, запомнив их, Павлов увидел и оловянной ложкой отбил: 6-3, 3-5, 1-1, 1-3, 3-1, 3-4, 1-3, 3-5, 2-1, 4-3, 4-1.

«Я П-а-в-л-о-в П-е-т-р», — расшифровал Василий Николаевич и, поминутно озираясь на дверь, принялся выстукивать торопливо и — отчетливо одновременно: 1-3, 2-4, 4-1...

В-е-р-ш-и-н-и-н.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Весь персонал кремлевской больницы словно выдуло ураганом, затянуло смерчем, все помещения опустели, только дежурные оставались на местах да в интересах безопасности — кочегары. Повсюду маячили офицеры МГБ.

Конференц-зал не мог вместить коллектив полностью, и потому экстраординарный митинг собрали на внутреннем дворе, скоропалительно соорудили трибуну из двух грузовиков с откинутыми бортами. Там, рядом с руководством, на переднем плане счастливо и подчеркнуто скромно улыбалась Лидия Тимашук. Четверо — никому не знакомые, в одинаковых бобриковых пальто с каракулевыми воротниками — оберегали ее.

Не зная, как себя держать, — впервые проводил такое мероприятие, — секретарь парткома решил, что лучше переборщить; презрев мороз, стянул меховую шапку, его примеру последовали мужчины, словно на похоронах...

Огласив текст указа, секретарь парткома зачитал резолюцию, где поминались поименно врачи-убийцы; и были речи, и затем пламенная патриотка в почтительном сопровождении главного врача, секретаря парткома, прочего начальства и тех, четверых в бобрике, шествовала по живому коридору сослуживцев, ей аплодировали, другие — немногие — только вяло соприкасали свои ладони, иные кидались с объятиями, поцелуями.

Старший ординатор, полковник медслужбы запаса Холмогоров, коренной петербуржец, истинный интеллигент, стыдясь, что не осмеливается демонстративно завести руку за спину, однако и брезгая прикоснуться к ладони Тимашук, сделал вид, будто закашлялся, и, достав носовой платок, прикрыл рот. А рядом пьянчуга-санитар из морга, с утра принявший дозу, негромко высказался вдогонку героине:

— Сучонка!..

И моментально исчез, сноровисто кем-то извлеченный из переднего ряда.

С платформы грузовика несколько человек раздавали выпуски завтрашней «Правды», помеченные 21 января, — читателю обычно редко приходит в голову, что газета всегда печатается накануне. Номера выглядели непривычно, и каждый брал газету.

Взял и Холмогоров, его покорило: на первой странице, прямо под портретом Владимира Ильича (отмечалась годовщина его смерти) красовался броско набранный указ о награждении орденом Ленина советской патриотки Лидии Федосеевны Тимашук.

Указ Холмогоров только что слышал, ошеломленный, успел прийти в себя, но теперь ошеломление повторилось с новой силой: имя этой... этой... рядом с именем, с портретом Ленина!

Он аккуратно сложил номер и спрятал во внутренний карман.

Он, как и абсолютное большинство, не знал, что именно этой идеей изумил в морозное утро ко всему привычного Берия сам Великий Вождь, а тот в свою очередь крепко озадачил редактора «Правды», после же ТАСС передал указание всем газетам.

А на следующее утро девятерым заключенным в одиночках внутренней тюрьмы Лубянки вручили одинаковые картонки с тщательно вырезанными и намертво наклеенными, чтобы не отодрать, не прочитать лишнего, — картонки с текстами сообщения от 13 января о врачах-убийцах и с указом о награждении Тимашук.

Трехкомнатную квартиру в обжитом, нестаром доме выделили сразу после беседы с Рюминым. Она занимала до того две просторные комнаты в коммуналке с двумя соседями, о большем и не мечтала, даже пыталась отказаться, когда на Лубянке объявили о подарке, но ей объяснили — заслужила, что же касается хлопот с переселением, неизбежных расходов и покупок, — это берут на себя они. Ни дом, ни квартиру даже не показали заранее, сулили сюрприз.

Ее привезли туда через сутки двое учтивых, вышколенных мужчин, в машине занимали светскими разговорами, затем подняли в лифте на четвертый, предпоследний этаж, по-хозяйски позвенели ключами, пригласили войти.

Ни в каких снах не снилось!

Комнаты все изолированные, кухня сияет белизной, ванная и туалет — сплошь в кафеле, горячая вода; редкостная встроенная мебель и мебель прочая; посуда на кухне, сервизы в серванте, радиоприемник, даже телевизор «КВН», даже — не забыта ни одна мелочь — пакет туалетной бумаги, флаконы, щетки, мочалки; в прихо-



жей — стойка для зонтов, рожки для обуви, расческа на подзеркальнике; бог мой, ничегошеньки не забыли... Перед нею раскрывали шифоньеры, тумбочки, выдвигали ящики — постельное белье, полотенца, мягкие тапочки, всего не рассмотреть с ходу, не перечесать...

Шальная от счастья, она в прежней квартире собрала только одежду, прежние подарки, книги, фамильные фотографии, а всю обстановку подарила соседям. В назначенный час явились упаковщики-грузчики, через два часа она с ребятами, обалдев, носилась по комнатам, прыгали на диванах, катались на ворсистых коврах, брызгались водой из-под кранов, названивали по телефону, кому придется, — прежде телефона у них и не предвиделось...

А вечером, после вручения ордена, принимала гостей — и самых близких, и не очень, и еще тех, с кем познакомили в МГБ. У порога встречали по-хозяйски гостеприимные, по-служебному подтянутые незнакомцы, в прихожей принимали пальто еще двое, в швейцарских фуражках и лампадах; раздвижная перегородка-гармошка утоплена в стены, соединив гостиную с ее спальней, тянулся обеденный стол, разноцветно блестели бутылки, сверкали приборы, манила разнообразная снедь. Официанты, выстроившись вдоль стены, в накрахмаленных белых куртках, при галстуках-бабочках, в лакированных туфлях, с перекинутыми через согнутые руки салфетками, почтительно усаживали гостей, начали раскладывать по тарелкам...

А в одной из кабин спецузла связи на Лубянке медленно крутилась катушка магнитофона, запечатлевая звуки, переданные многочисленными датчиками, упрятыми в жилых комнатах, на кухне, в ванной, в прихожей Лидии Тимашук. И держали ухо востро в самом жилище швейцары, официанты, некоторые из гостей, с которыми Тимашук в эти дни познакомилась.

Разъехались на казенных машинах под утро, официанты и швейцары мигом упаковали дополнительно, ради гостей привезенные сервизы, которые успели перемыть приветливые девицы, согласились наконец на предложение хозяйки выпить «посошок»; вежливо откланялись.

Магнитофонная лента через час бесстрастно зафик-

сировала притушенный подушкой плач в спальне; на прослушивании, конечно, решили, что эта дуреха — уже обреченная, как только завершится процесс над врачами — ревет от счастья...

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Товарный состав за номером 184-бис отправлялся со станции Иркутск-второй в 2.30 ночи, вне графика; по линейному селектору приказали обеспечить «зеленую». И строго в указанное время состав отбыл по назначению во Владивосток, набрав изрядную скорость, поскольку имел всего шесть вагонов, да и те, похоже, по-рожные.

Через два часа безостановочного хода он проскочил расположенную на западной оконечности Байкала станцию Култук и с этого времени мчался по насыпи, очень близко прилегающей к озеру: казалось, что путь лепится по самой кромке скалистого обрыва.

И следующую станцию, Слюдянку 184-бис миновал, едва притормозив, и уже через пять минут мелькнул через полустанок Крутой, названный так неспроста: полотно дороги чуть ли не висело над славным морем.

Предупрежденный, как и всюду по линии, о товарняке-экспрессе, идущем вне графика и с необычной скоростью, начальник Крутого с женой-стрелочницей и четырнадцатилетней дочкой — она увязалась по ребячьему любопытству — прошли в обе стороны по два километра, простукали рельсовые стыки, проверили стрелку поодаль будки, зажгли зеленый светофор, и все трое, хоть и основательно морозило, присели на лавочку, чтобы хоть прómельком увидеть столь необычный товарняк. Начальник держал фонарь и жезл.

В 5.07 диковинный экспресс, обдав их светом, грохотом, паром, проскочил так стремительно, что никто из троих не увидел в окне паровоза помощника машиниста, коему полагалось ответно просигналить...

Ровно через минуту, как впоследствии утверждали все трое, почти сразу же после того, когда исчезли красные огоньки хвостового вагона, они услышали скрежет, глухой удар и почти одновременно увидели всплеск огня, затем громадный клуб дыма, ударил громкий взрыв.

Они, все трое, бежали, задыхаясь, спотыкаясь о шпа-

лы, и, когда единым махом преодолели километр с небольшим — по зоне, только недавно ими тщательно проверенной, — начальник разъезда остолбенел, подумав: нет, без горячего тут не обошлось, порожние вагоны не могли полыхать так дружно и сильно...

Огонь утихал, стрелочница плакала, говорила, там люди, надо пособить, но муж запретил спускаться с обрыва, сказав, что в этом адовом пламени, да еще сверзившись с такой высоты, никто уцелеть не мог. И, вернувшись в будку, доложил по телефону о ЧП, не зная за собой никакой вины.

Через полчаса из Слюдянки на моторисе прибыли четверо: двое в непонятной форме, оказалось — юристы, а двое — железнодорожники, они же офицеры госбезопасности, о чем не знал и не узнал никто, кроме непосредственного их начальства. Всех троих допросили на месте, вскоре прибыла еще мотодрезина с милиционерами, старший из юристов приказал спешно сдать путевое хозяйство двум новым специалистам: на всех прежних, включая девочку, надели наручники, втолкнули в кабину дрезины.

В Иркутске на третьи сутки допросов с применением особых методов начальник разъезда подписал показания о том, что является агентом разведки Китая (с которым СССР поддерживал самые дружественные отношения), что, сговорившись с женою и четырнадцатилетней дочерью, заложил шашку динамита, подорвав рельсы на удалении одного километра и пятидесяти метров от полустанка. В результате диверсии погибла поездная бригада и семеро военнослужащих войск МВД, составивших караул по сопровождению малогабаритного груза особой государственной важности, о коем начальник полустанка был своевременно извещен.

Добровольные показания сорокалетний железнодорожник дал после того, как на его глазах трое уголовников налаживались изнасиловать его жену, но следователь посулил, что решение изменит и эта участь грозит дочери-семикласснице.

Через час их расстреляли в камере иркутского управления ГБ, причем первую пулю всадили в затылок девочке, она перед тем плакала, хватала палача за руки, мать рыдала, отец — его шлепнули последним — изловчившись плюнуть в лицо офицеру, руководившему казнью,

за что перед выстрелом был избит; прикончили его, словно загнанную, покалеченную лошадь, сунув дуло пистолета в ухо.

На следующий день к высшей мере социальной защиты — так обозначалась в документах смертная казнь — приговорили начальника участка Великой Сибирской магистрали, начальников железнодорожных станций Култук и Слюдянка, дежурных, диспетчеров, путевых обходчиков и, конечно, стрелочников, кои, как известно, всегда виноваты при любой катастрофе, — всего по точному счету двадцать семь душ.

Без допросов и приговоров, по-своейски прикончили старшего лейтенанта и капитана госбезопасности, которые и в самом деле — только не динамитной шашкой, а гаечным ключом и ломом, вылезши из кустов после того, как начальник полустанка совершил обход — свернули рельсы и швырнули под откос товарняк-экспресс, в вагонах были только бочки с горючим для ускорения пожара и сокрытия следов.

На совещании у Рюмина операция была признана вполне успешной.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Куда их ведут, не знал ни один зек и, вполне вероятно, рядовые конвойные.

Либман с Плетневым ковыляли следом за санитарными повозками, где лежали те, кто не мог подняться и, думал Плетнев, навряд ли поднимутся, если таинственный переход затянется еще часов на пять-шесть: мороз градусов под тридцать, а фанерные будки на санях защищали только от ветра.

Утро началось необычно: приказали выходить на плац с вещами. В тюрьме эта команда могла обозначать чаще всего расстрел, но здесь, хотя многим пришла в голову такая мысль, едва ли пришлось бы в подобном случае забирать шмотки, как не забирали их во время превентивных или штатных акций.

И те, и другие довелось наблюдать Дмитрию Дмитриевичу.

Штатные пришлось на тридцать девятый и сороковой годы, когда выяснилось, что лагерей недостает и перед прибытием очередной партии места в бараках для них

освобождали бесхитростным и весьма удобным способом: старожилы в полном составе выстраивали шеренги на плацу, подавали команду «По порядку номеров — рассчитайсь!», а затем из каждой шеренги тех, кому выпало быть круглой «десяткой» — десятых, двадцатых, тридцатых и так далее, каждые по четыре — соответственно числу шеренг — выводили из общего строя, конвоировали за пределы зоны и, разместив теперь в один ряд, укладывали насмерть пулеметными очередями, сокращая штат и освежая новичками. Подобные операции возобновились в сорок седьмом, когда массированным потоком стали доставлять расхитителей социалистической собственности, осужденных по новому указу, вроде Нури Закиева.

Превентивные акции были разовыми, краткими, в основном, в сентябре — октябре сорок первого, когда — понимали все — на тонкой паутинке висела судьба России, когда немцы впрямую угрожали Москве и Ленинграду, перли на юге, когда — это стало известно много позже из воспоминаний — сам Сталин пребывал в панике. В эту пору и ликвидировали репрессированных генералов, старших командиров и политработников РККА, многих партийных и советских работников, тех, кто, по суждению органов государственной безопасности, а может, и Верховного, мог в случае захвата Гитлером значительных территорий перейти к нему на службу.

Плетневу вообще-то везло: и двадцатипятилетний тюремный срок ему почему-то сократили; при штатных расстрелах он в «десятые» не попадал; превентивные акции его, штатского, нечиновного да вдобавок старика, не касались. Вот почему и сегодня он оставался равнодушно-спокоен. Жить ему оставалось всего-то ничего, и не один ли дьявол — умереть от старости, болезни, усталости, пулеметной ли очереди. Последнее даже легче — одна пуля, одна секунда — и конец.

Наскоро покормив — прямо на плацу, из походных кухонь, — вот уже пятый час их вели по широкой просеке, похожей на длинный и сумрачный коридор, и то, что покормили, что вели давно, далеко, — внушало надежду: перед казнью не тратились бы на питание и не было нужды тащить куда-то, для групповых могил хватало простору и возле лагеря. Однако неизвестность пугала: таких, как Дмитрий Дмитриевич, равнодушно-спокойных, были единицы.

Тот, кто служил в армии, побывал в лагерях, знает:

при движении колонной хуже прочих выпадает направляющим и замыкающим — передние либо принимают сугробы или притаптывают грязь, оступаются на ухабах; задним же достается пыль, когда она имеется, задние непременно растягиваются, отстают от строя, вызывая гнев командиров или конвоиров. Но и здесь Плетневу, а также Либману повезло: их места оказались в середине колонны, растянутой не меньше чем на два километра.

Угроза расстрела, кажется, миновала, Бертольд Северинович впал в состояние, близкое к эйфории, — или не к месту рассказывал детские анекдоты, или вдруг предавался воспоминаниям, давно известным Плетневу. Говорливость раздражала Дмитрия Дмитриевича, но старый доктор давно и прочно усвоил правило быть снисходительным к человеческим слабостям, правило, особенно важное в лагерном коллективе, замкнутом, составленном из людей разнообразных и собранных вместе не по своей воле, коллективе, где любая вспышка может породить массовый взрыв эмоций, грозящий непредсказуемыми последствиями, вплоть до подавления силой оружия. В ответ на словоизвержения Либмана доктор Плетнев молчал и думал не о нем, не о себе, думал о больных в санях с фанерными будками: спасение от мороза заключалось только в движении, а те лежали плашмя на тонком слое соломы, покрытые реденькими бушлатами, почти прозрачными от ветхости одеялами; вполне возможно, кто-то уже окоченел.

Ветер дул в спину, это радовало, ибо не секло лицо, и огорчало, поскольку сзади приносило ветром запах из полевых кухонь...

Просека, похожая на сумрачный, продуваемый ветром коридор, кончилась — все на свете рано или поздно кончается, — и на большой поляне, освещенной низким, без лучей, голым солнцем, их привычно выстроили в четыре шеренги, пересчитали, объявили привал и обед. Вместо баланды и двух ложек ячневой каши выдали одну похлебку — погуще первого блюда, пожире второго, — дозволили четверть часа покурить, двинулись дальше; вскоре очутились на бесснежном шоссе, а еще через полчаса ускоренного марша — на безымянном полустанке, где по двум путям вытянулись длинные составы из теплушек.

Название «теплушка» звучало издевательски: железные печурки, правда, имелись, но, хотя вокруг полустан-

ка высился таежный лес, дровами запастись не разрешили; в каждом вагоне лежала небольшая, ребенку нести, охапка полешек, на одну слабую истопку...

Когда разгружали санитарные возки, оказалось, как и предполагал Плетнев, из семнадцати больных шестеро явно мертвы, не требовалось даже щупать пульс и выслушивать сердце. Трупы отнесли к ближайшей опушке и швырнули в сугроб. Дмитрий Дмитриевич даже не заикнулся о том, чтобы вырыть могилу: грунт, конечно, промерз метра на полтора, кто прикажет возиться, да и зачем... Волки полакомятся, пошутит конвойный сержант. Мертвые остались под равнодушными деревьями, под равнодушным стылым небом; одежду с них сорвали, это пронзило Плетнева горечью и печалью: привычный к страданиям, он вопреки всякой логике думал о том, как им сейчас холодно, им, голым, синим на белом-белом снегу...

Эшелоны стояли на запасных путях, и, пока шла погрузка, мимо пронесся такой же товарняк, в зарешеченных оконцах под самыми крышами промелькнули головы в арестантских шапках: куда-то доставляли пополнение.

Они тоже тронулись — в том же направлении, по солнышку судя, на восток. Ехали двое суток, трижды останавливались для оправки, да разрешили также выпить-наколоть дровишек.

Темным утром выгрузились на станции Биробиджан, битком забитой товарняками, уже опустелыми, а то еще ожидающими таких же недоброхотных пассажиров.

Плетнев, как и остальные, смотрел отвыклыми глазами на вокзал, на человеческие дома в небольшом удалении, кто-то успел пустить парашу, будто здесь и оставят, слуху этому хотелось верить, ибо человек не может без веры жить, — но параша оказалась только парашей, опять их построили, скомандовали «шагом марш».

Бели утоптанной, гладкой дорогой — несомненно, тут успели прошагать тысячи ног, — и путь оказался недолог, а финиш его удивителен...

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Не конторским силикатным клеем — он имел свойство быстро желтеть и делать бумагу ломкой, — но домодельным крахмальным клейстером врач Лечсанупра

Кремля Холмогоров, покупая по два экземпляра газет, аккуратно вырезал и намертво приклеивал к листам одинаковых альбомов все без исключения такие материалы.

«Из летописи безумного государства» — придумал он название своей коллекции, зная, что не только дерзновенный заголовок, но и просто факт тенденциозного подбора обнародованных в официальной печати статей, заметок, писем является, несомненно, криминалом, и, случись докопаться до альбомов органам государственной безопасности, составителю этих фолиантов придется худо. Но Холмогоров считал, что обязан сохранить для внуков документы эпохи — как знать, сберегут ли эти газеты в общедоступных библиотеках.

Правда, внуков у Холмогорова не водилось и, кажется, не предвиделось в обозримом будущем. Сын Сергей, получая паспорт в сорок первом, из уважения к памяти матери-еврейки, а также словно бы в знак протеста, словно бы в пику Гитлеру записался евреем, хотя мог, конечно, числиться и русским, по отцу. И женился на еврейке. И невестка Николая Петровича с библейским именем Суламифь, в обиходе Соня, небезосновательно считала, что в нынешней обстановке — неизвестно, сколько продлится и не будет ли еще страшней — производить на свет еврея есть сущее безумие. Свекор с нею соглашался: безумие в обезумевшем государстве. Однако, утешал себя и детей Холмогоров, все-таки, наверное, пускай и не скоро, конец будет благоприятным, хотя бы потому, что немислимо посадить за решетку и колючую проволоку все население страны... «Кто-то должен их и стеречь», — невесело пошучивал он.

Мысль о вырезках пришла ему запоздало, в сорок девятом, толчком послужило то, что случилось тогда с невесткой.

Женидьба их казалась Николаю Петровичу скоропалительной и неразумной во многих отношениях. Соня только что закончила университет. Сергей же, двадцать пятого года рождения, давно ушел в армию из десятого класса (им авансом вручили свидетельства об окончании школы), а после Победы их оставили служить вроде бессрочно, демобилизовали только старшие возрасты да тех, кто имел ранения, а также военных с законченным гражданским специальным образованием и бывших



студентов. Сергей не подходил под эти категории, продолжал беспроблемно вкалывать, старший сержант. Ладно, еще начальство сжалилось, дали в лето сорок девятого двухнедельный отпуск, тогда они поженились. Соня, по специальности инженер-химик, вместо направления на работу получила в числе прочих сокурсников-евреев свободный диплом. В другое время такой диплом считался великим благом: не зашлют по распределению в Тмутаракань, оставайся в Москве, устроишься, куда пожелаешь и сможешь. Для Сони свободный диплом обернулся волчьим билетом, однако выяснилось это не вдруг, и поначалу другие обстоятельства смущали Холмогорова в женитьбе сына. И то, что брак может оказаться неравным: жена с высшим образованием, сыну придется начинать с первого курса — как знать, не почувствует ли себя ущемленным, неполноценным. И то, что поступать следует непременно в стационар — заочное дает, как правило, документ, но отнюдь не полноценные знания; учась же очно, Сережке придется быть на иждивении отца и жены — опять-таки с его самолюбием... Тем более что Сергей, ровесник Сони, пройдя перед женитьбой шесть с гаком лет службы (да еще с двумя в том числе годами фронта), сформировался во взрослого мужчину...

Но родительского благословения не испрашивали, взяли да и расписались, отметили скромненько дома у невесты. Тогда лишь Николай Петрович познакомился с теперешним свояком, Ефимом Лазаревичем Лифшицем, председателем завкома предприятия средней руки, членом партии с дореволюционным стажем. С матерью невестки, Цилей Вулфовной, виделся Холмогоров и раньше, изредка, на родительских собраниях: ребята учились вместе с первого класса.

Через три дня после свадьбы Сережка вернулся служить, не зная, когда демобилизуется, а месяца полтора спустя Соня объявилась у свекра, даже не заплаканная, не взвинченная — это было бы полбеда, сумел бы успокоить, на худой конец, лекарствами, — а сломленная, пришибленная, говорила монотонно, Николай Петрович гладил по голове, говорил пустопорожние слова, тоскливо думал об убитом внуке или внучке и думал, что Соня поступила правильно — в такое-то время. Проговорили до утра, Соня позвонила домой, предупредила; свекру же сказала, что родители пока ничего не знают. Удалось, кажется, немного развеять мысли не-

вестки, отвлечь. Но когда с рассветом улеглись, Холмогоров не уснул и кожей ощущал: за стенкой, в комнате Сережки, она тоже не спит... Он испытывал унижительное чувство бессилия, испытывал острую жалость к невестке, к сыну, ко всем...

Тогда вот осенило: завести — будут же когда-нибудь внуки — эти альбомы...

Газеты 1936—1940 годов, оказалось, хранятся в спецфондах, никому для прочтения не выдаются. Пришлось начать с периода, когда зародилась новая волна, с 1946-го.

Николаю Петровичу повезло, выкраивать время для сидения в читальном зале не пришлось, да ему и не хотелось делать выписки, пускай и дословные: подлинники всегда выглядят достоверней любой, даже факсимильной копии. Повезло же в том, что новый родственник, Ефим Лазаревич, истребив на всякий случай газеты времен публичных процессов над врагами народа, бережно хранил зато полные комплекты с военных лет — «Правды», «Литературной газеты» (одно время называемой «Литература и искусство») и — прочего ценней — уникальной «Культуры и жизни».

Четырехполосная, особого формата (крупнее «Правды»), она числилась не органом, просто газетой, и не являлась изданием ЦК или министерства, а всего лишь подведомственной Управлению пропаганды и агитации ЦК, но сила была за ней — ого! Вид ее походил на до-революционный: наверное, ради экономии полезной площади здесь почти не помещали снимков; верстали без затей; заголовки набирали некрупно. По содержанию газета отличалась целенаправленностью: ни одной практически положительной оценки, только зубодобриловка, недаром издание сие почти незамедлительно обрело подпольную кличку, произносимую шепотом: «Братская могила» и, реже, «Культура и смерть».

Ефим Лазаревич комплектами дорожил — по тем же мотивам, что и Холмогоров, — но согласился с доводами свояка: хранить вырезки и удобнее, и целесообразнее, чем полные подшивки, да и внукам будет легче разобраться, что к чему. Свояк помог благому начинанию, выпросил насовсем у себя в профсоюзной библиотеке дубликатный экземпляр тех же подшивок, без чего нельзя было обойтись: материалы печатались, понятно, и так, что нужные статьи находились и на обороте дру-

гих, столь же необходимых. Николай Петрович поблагодарил и взялся за дело.

Сперва он пытался продумать какой-то порядок, некую систему, рубрикацию размещения вырезок, прикидывал так и этак, пока не понял: безумие алогично в первооснове, для расположения материалов в альбомах остается лишь хронологическая последовательность.

«Из летописи безумного государства»...

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Из девяти официально объявленных подследственных — на самом деле врачей арестовали значительно больше, да заодно и не только врачей, — Берия прежде всего рассчитывал на самых видных по именам и должностям, а также на тех, кто постарше годами, а физически слабей.

Но тут и начались проколы.

Меер Мойся поначалу рыпался, упирал на свое генеральское звание, высокий армейский пост, научные заслуги, три ордена Ленина да плюс другие награды — с какой, мол, стати ему вредить Советской власти, которая столько дала... Больше всего, кажется, потрясли его не обвинения и не битье, но метод, придуманный еще Ежовым, не самый главный, однако весьма эффективный: именно то, что Мойсю, генерала, били солдаты... Хм-хм... Ладно, сводили его к генералу Рюмину. Тот показал себя во всей красе: от ласковых уговоров шаркался в отъявленные матюги, поил вкуснейшим чаем и плескал им же в харю, обещал немедленную свободу после того, как остальным объявит (по доносу Мойси) смертный приговор, и грозился прикончить на глазах Меера Соломоновича его семью, включая недавно родившегося внука... И, казалось, этого Меера довели-таки: подмахнул протокол с показанием, дескать, он самолично получил директиву об истреблении руководящих кадров, получил из США, от сионистской организации «Джойнт дистрибьюшен комити», через московского врача Шимелиновича и известного еврейского националиста актера и режиссера Михоэlsa... О признании тотчас доложили Берии, он выругался: болваны, разуйте глаза — ни одного соучастника не назвал, свалил на убранного Михоэlsa, — старый приемчик, им чуть ли не народовольцы пользовались, когда раскалывались, валили на

мертвых, вывернулся, хитрый жид, а вы уши развесили... Однако, поостыв, согласился: это лучше, чем ничего, лиха беда начало.

Прокол случился и с Эйтвидом. Его бить не решились — божий одуванчик, в чем душа держится, — нашелся изобретатель, сочинил новый способ воздействия на психику. Вспомнил, что в прошлом году по делу евреев писателей проходил какой-то виршеплет Арон Рухимович, сошка настолько мелкая, что и на тюрягу не потянул, отделался вечным поселением в Караганду. Туда срочно дали распоряжение, Рухимовича, полуживого от нового страха и от давнего увечья, доставили сюда, продемонстрировали Эйтвиду, кое-что прокомментировали, а он, Эйтвид, возьми да и слохни от разрыва сердца прямо на месте, — ведь мог из него получиться хороший подсудимый, поскольку слабая его душонка неведомо в чем держалась и раскололся бы наверняка.

Но что если Рухимовича напустить на Вершинина? Тоже оказался крепкий орешек, никак не ожидали. В тридцать восьмом подмахнул акт медицинской экспертизы на своих же коллег — Плетнева, Левина, Казакова — и не поморщился, говорят, даже и давить особенно не пришлось. Теперь же артачится, молчит. И мордовать его тоже опасно, первый допрос выдержал, другие может и не перенести, не шутка, семьдесят один год... Коба вчера распорядился насчет их всех: «Бить, бить, бить и еще раз бить...» Ему хорошо командовать, Кобе, попробовал бы сам, загребает жар чужими руками. А Вершинина бить нельзя, стар...

Вот с теми писателями, думал Берия, которые вместе с Рухимовичем шли, с теми повезло, сами напросились. Подали прошение товарищу Сталину, чтобы перенести Еврейскую автономную область из Биробиджана, где климат, видите, неподходящий, — в Крым, пустующий после выселения татар. Дескать, евреи исконные земледельцы и скотоводы, народ исключительного трудолюбия, они благодатный Крым превратят в цветущий рай. Тут они и попались, как раз ко времени: попытка создать буржуазно-националистическое государство на Крымском полуострове, оторвать курортную жемчужину от Советского Союза... Один за другим под вышку — Давид Бергельсон, Перец Маркиш, Ицхок Фсфер, Лев Квитко; фамилии всех не запомнил; а дело было хорошее, легкое...

Попробовать напустить Рухимовича на Вершинина,

конечно, можно, уж больно впечатляющее наглядное пособие, да ведь они, доктора, к чужой боли привыкли, как и он, Берия, к смертям привык. Вдруг с Вершинным сорвется, опять задержка... А Коба может дать второй звонок (первым звонком Берия по справедливости считал сообщение о том, что органы госбезопасности не проявили должной бдительности).

Тут — в буквальном смысле — зазвонил телефон. Поспешая и медля, пытаясь хоть сообразить, какую пилюлю поднесет Коба, если это он, взял трубку и первым, как полагалось, услышав его дыхание, поздоровался, избегая обращения:

— Здравия желаю...

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Слова, что шепнула Генеральному конструктору его секретарша, были: «Говорят, полковники... Из Большого Дома».

Любой ленинградец, от школьника начальных классов до престарелого пенсионера, знал, что именуется Большим Домом. Здание на Литейном не столь уж велико, но про него ходила давняя печальная шуточка: «Самое высокое здание в мире — из окошек Колыму видать». Конструктору приходилось по службе иметь с ними дела; и сам заезжал, и являлись тамошние генералы, но, во-первых, подобного рода встречи согласовывались заранее, во-вторых, секретарь, Елизавета Владимировна, генералов тех знала в лицо и не испугалась бы так... Почему, в самом деле, без уговора, в неурочный час какие-то неведомые полковники? Генеральный конструктор принадлежал к той научной, технической элите, где только ум, талант, знания, организаторские способности определяют положение человека, где в отличие от прочих областей деятельности не принимались во внимание ни социальное происхождение, ни национальность — в том числе и еврейская, — ни, скажем, развод с женой (тогда как прочим он грозил обвинением в аморалке, исключением из партии).

Он переоблачился в генеральский китель с регалиями и велел просить.

Одетые в штатское, они тем не менее приняли положение «смирно», отчеканили по-уставному:

— Здравия желаем, товарищ генерал-лейтенант!

И представились: полковник такой-то, полковник такой-то; фамилии Конструктор пропустил мимо ушей.

Выдерживая дистанцию, он из-за письменного стола не вышел, не пригласил, как это делал с уважаемыми посетителями, за овальный столик у окна, не предложил боржоми, а привычно-повелительным жестом указал места для посетителей обыкновенных, сказав деловито:

— Слушаю вас. В моем распоряжении десять минут, достаточно?

— Это будет зависеть не от нас, — ответил старший годами не слишком почтительно, пускай и приподнялся в знак вежливости. — Прошу, товарищ генерал-лейтенант. — И протянул Генеральному кожаную папку с привычным тиснением «Для подписи».

Тренировано пробегав по начальным строкам, Конструктор будто споткнулся и начал заново, ему хотелось удалиться в бытовку, остаться одному, вдуматься, вникнуть, понять: что это — провокация, неумная шутка, бред психопатов? Но оставлять полковников в кабинете не счит возможным — если провокация, то мало ли что могут натворить, подкинуть, утащить, сфотографировать, — он, оттягивая время, сделал то, чего не делал никогда, поскольку этим занималось бюро пропусков, — попросил предъявить удостоверения личности. Документы, конечно, оказались в полном порядке. Тогда Конструктор закурил, не предложив портсигар посетителям, и, глянув на следующий лист веленовой, слегка желтоватой правительственной бумаги, перевернул, увидел заделанные подписи, то есть отпечатанные фамилии с именами-отчествами, чинами, степенями, званиями... Подписи шли в алфавитном порядке, пронумерованы — некруглое число, 53 — и занимали пять страниц, поскольку были пространны титулы каждого. Но личных росчерков не значилось ни подле одной фамилии; конечно, все они были знакомы Генеральному конструктору.

Он внимательно вчитывался. Безумному смыслу бумаги не соответствовал весьма приличный литературный — правда, отчетливо-газетный — слог; он чем-то напоминал даже возвышенно-романтические листовки времен и гражданской, и Отечественной...

Полковники сидели смиренно, отстраненно, только тот, что помладше, втягивал — еле заметно — папиросный дым, но Конструктор и не подумал предложить ему папиросу или разрешить курить. Он в который уж раз думал: ну а что заставляет людей уважаемых, интелли-

гентных, в больших чинах и званиях подписывать заметки в газетах с осуждением, что заставляет их выступать на митингах, зачем, почему, во имя чего? И каким образом вот эти двое, сидящие перед ним, могут подействовать, вынудить его поставить росчерк под документом, что куда страшней всех напечатанных ранее? Не станут же бить, пытать, не повезут в свой Большой Дом его, прославленного конструктора важнейшего вооружения, генерала, депутата Верховного Совета, Героя, четырехжды лауреата, с кем не раз советовался товарищ Сталин, чьей работой он постоянно интересовался, чьи достижения признавал даже Гитлер...

Он сказал:

— Не вижу ни одной подписи. Вы что, ко мне первому?

И получил краткое разъяснение: никак нет, экземпляры изготовлены для каждого из товарищей, чьи подписи заделаны в документе, каждый подписывает индивидуально, поскольку живут в разных городах и ездить с одним экземпляром значило бы слишком затянуть время, а делом этим непосредственно интересуется товарищ Сталин, ему и будет представлен общий, где смонтируют подписи, экземпляр.

Ленинградцев в списке значились единицы, Генеральный спросил:

— А у кого все-таки здесь успели побывать, кто подписал уже?

— Не могу знать, товарищ генерал, — отрапортовал тот же, старший по возрасту.

Врешь, подумал Генеральный, однако тут же одернул себя: возможно, и в самом деле не знает.

— Вам не обязательно спешить, — другим, своим тоном добавил полковник, обратившись по имени-отчеству. — Оставьте до завтра, мы заедем... Но только — завтра, не позже. И единственная, извините, просьба: ни одна живая душа... Пока, разумеется, не опубликуют газеты. Но предварительное разглашение исключено, прошу извинить.

— Курите, — сказал им Конструктор, и те облегченно закурили. — А если, предположим, я не подпишу?

Он услышал в своем голосе неуверенность и, кажется, страх.

— А ничего не изменится... для нас, — вступил в разговор другой, помоложе, тоже назвал по имени-отчеству. — Найдем другого товарища, примерно в том же ран-

ге... Только... Только мы, поймите правильно, не угрожаем, но для вас лично это может обернуться нежелательными последствиями.

— Хорошо, — сказал Генеральный конструктор. — Оставьте это и оставьте свой телефон. Я позвоню, когда приму решение...

В тот же день и в те же часы в Москве, Ленинграде, некоторых столицах союзных республик полковники в штатском, генерал-майоры, подполковники ведомства Берии входили в служебные кабинеты, в квартиры тех, кто служебных кабинетов не имел, протягивали одинаковые кожаные папки — и кто-то подписывал сразу, без агитации, другой просил время на размышление, ограниченное сутками, как объявляли.

Явились двое и к знаменитому эстраднему артисту, тот выслушал краткие представления — полковник, подполковник такие-то, — позвал в гостиную, налил не коньяк, обыкновенную водку, взял кожаную папку, осведомился, как осведомлялся и Генеральный конструктор, почему нет подписей, получил пояснение, опять наполнил вместительные рюмки, а когда все они выпили, очень аккуратно порвал пачечку веленевых листов пополам, еще раз пополам, без ярости, как выполняет канцелярист привычную работу, положил лоскутки в их папку и произнес обстоятельный, замысловатый монолог, в нем помимо исконных российских словечек содержались такие одесские загибы, что двое офицеров слушали с не меньшим, если не большим удовольствием и почтением, нежели концерт этого знаменитого артиста, слушали, будто не к ним в числе прочего относилось... Выговорившись до конца, артист опять наполнил рюмки, заставил выпить, проводил до дверей, выдав на прощание столь же затейливый монолог.

На улице офицеры расположились на скамейке в заснеженном сквере и, подсказывая друг другу, постарались в точности записать блистательную речь, смакуя загибы и хохоча, а затем на Лубянке одним пальцем подполковник перестучал на машинке, доложили — через непосредственное начальство — Рюмину, тот — Берии, и он, отхотавшись, отважился в сравнительно добрую минуту показать Хозяину. Сталин прочитал молча, хмуясь, и Берия спросил:

— Ну как, братъ?



Что-то похожее на улыбку возникло под усами, помолчал, пыхнул трубкой.

— Не надо. Хороший артист.

У Публициста, вернувшегося из Парижа перед захватом Франции Гитлером, портативная машинка трещала, некоторые буквы западали. Работал не для газеты — уже несколько месяцев редакции не обращались с заказами, с просьбами, — писал нечто вроде мемуаров, не для печати, для себя, для внуков.

К нему пришли в полной форме генерал-лейтенантов, отутюжены, начищены, надраены, вежливы, воспитаны, приложились к ручке хозяйки дома, извинились за — без предупреждения — визит. Она оставила их в гостиной, пошла в кабинет, вернулась: муж заканчивает страницу, просил несколько минут подождать. Конечно, конечно, покивали генералы, завели общий разговор, переключились на литературу, сверкнули эрудицией. Иногда разговор соскальзывал на Европу, на эмиграцию, она прервала: мы не были в эмиграции... Да-да, конечно, это к слову, поправился генерал.

Сходила опять, пригласила. В руках у одного была коричневая папка. Коричневая, машинально отметила она.

Провожать генералов Публицист не вышел, генералы в прихожей расторопно натягивали шинели, целовали ручку, вышли на лестницу, держа в руках папки; генералы были веселы и довольны.

— Я при них звонил Сталину, — сказал муж. — Не соединили, сказали, что по этому вопросу — к редактору «Правды». И тот объявил категорически: это не предложение, не просьба, это личное и прямое указание Сталина... Я подписал...

— Боже, боже, ты о чем, о чем ты, — забормотала жена, глядя в его лицо, отрешенное, как бы неживое. — Я ведь не знаю, о чем речь.

— Как? — медленно, без выражения переспросил он. — А мне эти... генералы, черт бы их, объявили, что, пока сидели с тобой, рассказали тебе все...

К вечеру Берия доложили: кроме народного артиста, подписи поставили все. Берия заперся в кабинете, выпил. И эта часть операции прошла успешно.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Тайга подвывала, звенела, ухала, лязгала, трещала, гудела, громыхала; над нею витал дым костров, полыхало зарево, должно быть, похожее издали, по ночам, на пожар. Его, наверное, видно было бы с самолетов на многие десятки верст окрест, но авиация не появлялась тут никогда.

В тайге — и здесь, за двести километров к северу от Биробиджана, и на восток, по территории равной примерно Швейцарии, — в этой нетронутой тайге круглыми сутками (ночью — под светом прожекторов и костров) визжали пилы, звенели топоры, ухали падающие деревья, трещали сучья в кострах, громыхали толовые шашки — ими выкорчевывали пни, взрывали стылую землю под котлованы фундаментов. Тайга пахла смолой, хвоей, свежими опилками, мерзлой почвой, трудовым потом, дымом костров, баландой, паленой шерстью застигнутого врасплох малого зверья, мясом освежающих медведей, предназначенных на шашлыки для начальства. Тайга падала ниц безропотно, хотя и не безмолвно, и на ее неохватном пространстве, буро-желтоватом (прижелть давали частые здесь лиственницы), если глянуть сверху, обнаружались бы громадные проплешины.

Здесь, за пределами зоны, обнесенной по давнему сибирскому способу заплотом из вертикально, впритык врытых, заостренных поверху бревен, на цвелем кумаче белели слова: «Дело чести каждого заключенного — ударным трудом искупить вину перед Родиной, внести свой вклад в сооружение БАМ, великой стройки коммунизма!»

В числе официально объявленных великих сталинских строек — Куйбышевской и Сталинградской ГЭС, Главного Туркменского и Волго-Донского каналов, Каховского моря, гигантской системы полезащитных лесонасаждений — БАМ, то есть Байкало-Амурская магистраль, начатая до войны, сейчас не значилась, поскольку на самом деле и не сооружалась. Не упоминалось и еще одно, реально осуществляемое строительство — подводный тоннель, соединяющий материк с Сахалином в самом узком месте Татарского пролива, от мыса Лазарева до поселка с веселым названием Погиби, тоннель, необходимый не столько экономически, сколько дабы утереть нос англичанам и французам, вот уже полвека болтаю-

щим о создании подобной переправы через Ла-Манш...

Здесь, в лагпункте № 28/6 работники КВЧ, культурно-воспитательной части, набили мозоли на языках, втолковывая ээкам, что строительство БАМ начали еще в тридцатые годы и успешно завершили бы, не случись война; что сооружение магистрали имеет огромное народнохозяйственное и оборонное значение; что лишь соображения государственной тайны препятствуют до поры до времени открытой пропаганде; что им, преступникам политическим и уголовным, партия и правительство оказали особое доверие и милосердие, дозволив искупить вину перед Отечеством, народом и отдельными гражданами; что за стройкой лично следит товарищ Сталин, вдохновитель и организатор всех наших побед...

О том же, правда, короче и деловитей, подкрепляя для красочности матюгами, талдычили перед строем офицеры охраны, когда разводили на работы. Офицеры и культурники то и дело поминали знаменитый Беломорканал, где многие десятки тысяч заключенных (не боялись говорить о количестве — чтоб внушительнее агитировать!) заработали свободу, а наиболее отличившиеся ээки — даже правительственные награды. О досрочном освобождении вопили стенные газеты — факт выпуска их, как и небывалое разрешение вести меж собой социалистическое соревнование! — словно приравнивали подневольных ээков к вольняшкам, вселяли ослепительные надежды...

Ободренные ээки осмелели настолько (будто и в самом деле оказались добродетельными строителями коммунизма), что даже задавали вопросы, категорически запрещаемые прежде, и начальство — удивительно — вопросов не пресекало, исключая те, какие полагало провокационными. Некий ушлый ээк из инженеров, ныне лесоруб, осведомился, по какой, собственно, причине здесь не видно ничего похожего на строительство магистрали, на что последовал ответ: действительно, насыпи, железнодорожное полотно, мосты, тоннели, прочее путевое хозяйство сооружают другие лагпункты, а наша задача — в кратчайший срок возвести относительно благоустроенный поселок для будущих железнодорожников, поселок затем, притом ускоренно, будет превращаться в настоящий, подлинно социалистический город-сад среди тайги...

Обо всем этом гласили транспаранты, речи, стенгазеты, ответы начальства; и, за малым исключением

скептиков, сотни тысяч эков на громадном пространстве Сибири верили, надеялись, усердствовали что было сил, и работа спорилась весело, поскольку не казалась теперь подневольной, и победителям в социалистическом соревновании — бригадам — вручали вымпелы, правда, не красные, а зеленые, и давали ударный паек, и падала ниц тайга, ошкуривались спелые бревна, укладывались — из вечной, не гниющей лиственницы — фундаменты, возводились основательные стены, плотилась добротная кровля, и никто из строителей в мыслях не держал сетовать, что сами они обитают в шалашах, еле обогреваемых и почти насквозь продуваемых. Первопроходцам всегда трудно... А главное — впереди светила В О Л Я, долгожданная и досрочная!

Санчасть — ее-то сладили бревенчатой — почти пуствовала, лежали только несколько беспомощных стариков, а так никто не хотел укладываться на койку, из последних сил вкалывая ради свободы. Лишь с травмами забегали сюда на перевязки, спешили, рвались на любое дело, усиленное при оттяпанном пальце руки, порубленной ноге, — работать, работать, работать во что бы то ни стало! И санитару Нури Закиева по настырному его молению отнарядили на общие работы, где можно было получить досрочное освобождение, а профессор Плетнев и Либман, врач, исполняющий обязанности санитаря, теперь же и дневального, поскольку желающих на эти должности — в отличие от прежних времен — не сыскали, оставались тут, где досрочное, безусловно, не предвиделось.

Дмитрий Дмитриевич Плетнев умирал, угасал понемногу от старости. Жизни оставалось всего-то ничего, недели считанные, и Плетнев давно устал, измаялся, давно жить не хотел.

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Приказ Берию не просто удивил, но и поверг в изумление, зависть, уныние, растерянность. Сталин всегда отличался непредсказуемостью поведения; решая государственные дела, вдруг обращал внимание на какую-либо мелочь, явно подчеркивая свою компетентность, прозорливость, без прямых упреков тем самым попрекая

других: вот вы не заметили, не додумались, пренебрегли, а ведь именно эта деталь, эта частность и составляет тот штрих, что придает законченность картине. Такие штуки он любил, и окружающие старались, докладывая ему, быть настороже, предугадать ход Его мыслей, опередить Его, но это никому не удавалось, ибо Сталин руководствовался не всем доступной и очевидной логикой, а какой-то своей, порою и в самом деле точной и блистательной, порой — причудливой, случалось — болезненной (в том, что Коба серьезно болен, Берия не сомневался). Именно болезненностью объяснял он то, что Сталин придавал такое значение делу врачей, оно как бы заслонило все прочее, хотя Кобе забот должно было хватать. Стареет, думал Берия, впадает в детство. Играется с этими врачами, лезет не в свое дело, и это, между прочим, опасно: ему ничего не стоит опять обвинить Берию, что нет инициативы, что либеральничает, тянет, а дело проще простого, и не таких ломали, а здесь жидовня, труха... Но — даже зависть у Берии зашевелилась — какой размах!

Конечно, приказ выполнят сегодня же, однако затея с Рухимовичем не отменяется. Комплексное воздействие, подумал он, с привычной иронией.

Ошеломленный новым поворотом своей горемычной судьбы, Арон Лейбович Рухимович, в прошлом подследственный, обвиняемый, подсудимый, вечный ссыльнопоселенец, а ныне опять по неведомой причине водворенный в тюрьму, перемены в знакомой ему обстановке камеры сразу не заметил, обнаружив ее лишь часа через два. Он решил, что случилась какая-то оплошка, несмело постучал в дверь, дежурный надзиратель на робкий вопрос ответил кратко, в том смысле, что так положено, а почему именно — это не его, сержанта, не тем более заключенного дело и забота.

Понадобилось еще несколько часов — до вечерней оправки, — чтобы Рухимович понял, что к чему.

Вершинин проявил терпение, и через несколько дней его сосед, Меер Соломонович Мойся, наукой тукования овладел. Вскоре наладилась цепочка (перестукивались из камеры в камеру), и Василий Николаевич, как бы сделавшись заочным старостой группы, знал, что Мойся дал кровенку, но весьма умно — признался в сотрудничестве с «Джойнтом», в подготовке покушения на

вождей, однако сообщников ни одного не обозначил, свалил на покойного Михозэlsa, поступил правильно.

Из сведений, собранных по цепочке, выходило: все арестованные, включая умершего на допросе Эйтвида, обвинения в заговоре отрицали начисто, если брали грех, то лишь на себя, держались достойно, как и надлежит порядочным людям.

Однако мысль об интеллигентской нерушимой порядочности всегда вела за собою воспоминание о тридцать восьмом годе, когда он, Вершинин, в числе прочих крупных медиков подписал заключение экспертизы, усугублявшее степень кары трем коллегам, привлеченным по делу Бухарина и других. Конечно, эксперты понимали, что к чему, они попросту струсили, это Вершинин знал и тогда, помнил и после, и всю жизнь будет помнить, сколько бы ни оставалось ее. Только война отвлекла от этих мыслей и едких воспоминаний, но зато в сорок шестом, когда началась еще не очень понятная и не очень четко оформленная кампания против интеллигенции, Вершинин снова и снова возвращался к тому процессу и думал больше всего о Дмитрие Дмитриевиче Плетневе, с которым был особенно близок и которого, вероятно, давным-давно нет на свете — мыслимо ли, чтобы старик долго протянул там, — ведь миновало без малого пятнадцать лет... Он часто перелистывал изданную отдельной книгой стенограмму того процесса, и, чем больше вчитывался, тем чудовищней являлась нелепость спектакля, в котором довелось ему принять — пускай косвенное, пускай не решающее — участие. Теперь, понимал он, наверняка готовится новое представление, и его роль в нем будет совсем иной... Ему стукнуло недавно семьдесят — какие уж тут роли, какие игры, лишь бы не дрогнуть, не поддаться им, сохранить достоинство, сохранить лицо... В том, что он обречен, Василий Николаевич не сомневался — любой приговор в его возрасте гибелен, даже если не станут допрашивать, просто оставят в этой омерзительной камере, он, привычный к другим условиям, к другой пище, к иному обращению, — не выдержит долго...

Нелепость положения — его и еще двоих — заключалась и в том, что они были русскими, а дело было явно затеяно против евреев, не случайно их шестеро из ему известных девяти, сидящих здесь. Однажды со смертной обидой и горечью он подумал, что он-то ни при чем. Мысль была оскорбительна, она как бы пред-

полагала некую неведомую вину его коллег-евреев, даже не коллег, а евреев вообще, и Вершинин устыдился минутной своей слабости, этой подлости, тотчас подавленной врожденной порядочностью русского интеллигента.

На допросах Василий Николаевич — его, как ни странно, вовсе не били — согласился, что является английским шпионом (видимо, из славянина казалось неподходящим делать агента мирового сионизма), уклончиво, не отвергая и не подтверждая, промямлил о возможных — чьих и на кого? — покушениях. Его до времени оставили в покое.

Но ему, как и остальным, не дано было знать, что Солдатов и Фишман не просто подмахнули готовые протоколы, но и по собственной инициативе сочинили дополнительные факты и подробности, чем весьма порадовали следователей, избавив их от излишнего напряжения мозгов, а также придав показаниям сугубую достоверность; теперь стало возможным в обвинительное заключение вставить детали чисто медицинского плана, сочинить кои затруднялись здешние мастера, не будучи врачами.

Пребывая в неведении, Вершинин постепенно успокаивался. Он боялся смерти и понимал, что обречен, однако постарался убедить себя, что его признание в шпионаже не стоит равным счетом ничего, поскольку нет доказательств (забыл или постарался забыть формулу Вышинского о том, что признание обвиняемого есть высшая степень доказательства!), а замысел покушения не является еще реальным покушением, и, следовательно, в открытом судебном заседании (мысль о заседании закрытом он гнал прочь) будет нетрудно опровергнуть домыслы, заявив о том, какими способами вырывали у него нелепые измышления.

Вершинин размышлял так, не зная ни о показаниях Солдатова и Фишмана, ни о сценарии, что продолжали разрабатывать, ни об испытании, что ждало его вскорости...

В судоремонтных мастерских Южного речного порта — нарочно выбрали предприятие малозаметное, тихое — приветливая заказчица объяснила после смены оставленному старику кузнецу: это экспонат для Музея Революции, подлинной вещи в исправном состоянии не сыскали, вот рисунок, по нему нужно сделать копию, она подождет. Заплатила наличными двести рублей; по ра-

зумению старика, работа не стоила и тридцатки. Отказаться от шальных денег он, конечно, и не подумал, поблагодарил, расписался на бумажке в получении, нашел в соседнем цехе двух приятелей, таких же стариков, они калымили. Завернули в пивнушку, дернули по стаканше, запили жигулевским, для старухи взял коробку конфет, подремал в трамвае, сел в метро «Курская-радиальная», благополучно добрался до Измайлова, купил в продмаге бутылек красненького и потопал проходными дворами к себе, на Парковую. Почти возле дома, на Измайловском бульваре, еще совсем молоденьком, низким и безлюдном, остановили трое пацанов «под газом», потребовали: отдавай, дед, пузырь — бутылка торчала из кармана пальтишка, — и не успел он возразить или согласиться, как поллитровку дешевого портвейна выхватили. В февральском смутном небе разом ударила зеленая молния и шарахнул короткий гром.

Утром труп старика убрали, завели следственное дело, вскоре прикрытое: пьяная драка, участники не обнаружены. Сверху на продолжении следствия не настаивали.

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Коридоры заводоуправления казались лабиринтами, они извивались, то падая вниз крутыми лестницами, похожими на виденные в кино корабельные трапы, то заново карабкаясь вверх; в них сновали деловитые люди. Соня думала: неужели посчастливится и ей... Не следовало загадывать наперед, уж сколько раз нарывалась, обжигалась... Хотелось, чтоб коридоры кончились поскорей, но хотелось и другого: пускай тянутся дольше...

Свободный динлом оказался сущей карой.

Поначалу сдуру обрадовалась: сама себе хозяйка, поступай, как заблагорассудится; тем более, случись комиссии по распределению задним числом передумать, направить за пределы Москвы — ничего бы у них не получилось: стала женой военного срочной службы (правда, службе этой не виделось конца, ее правильно было бы обозначить бессрочной), призванного из столицы; по закону она в таком случае обязательному распределению не подлежала никак.

Мама устроила семейное празднество, родственники



ахали, будто Соня и лучшая ее подруга, Майка, приглашенная в тот вечер к Лифшицам, не просто кончили университет, а совершили научное открытие. За столом было скучно, сбежали под предлогом, что Майка себя неважно чувствует, а Соня пошла ее проводить в Сокольники, в общежитие на Стромынке, откуда Майку пока не выгоняли.

На выпускном вечере Майка веселилась пуще всех — у нее тоже был свободный диплом, и никому поначалу в голову не приходило, что такие документы получили, в основном, евреи, Майка разошлась вовсю, водку хлопала направо и налево, целовалась не только с мальчишками-однокурсниками, но и с профессорами, те делали вид, будто смущены, а на самом деле с удовольствием лепились губами к Майке.

Сегодня же и у Лифшицев, и особенно когда вышли на улицу, Майка выглядела прибитой, Соня пыталась что-то выяснить, Майка, по-татарски широколицая, глаза врасстановку, плоская переносица, увесистая коса, безлико молчала, после обругала подружку ни за что, вынула портмоне, подсчитала финансы, потянула в кафе, заказала бутылку — помилуй Бог! — портвейна, выдула полный бокал (Соня пригубила), сказала, что пьет в память сегодняшнего дня, второго июля. Если бы за третье, Соня еще бы поняла: годовщина исторической речи товарища Сталина, пускай и удивившись Майкиному сверхпатриотизму, Соня бы поняла, но сегодня было второе. Для Майки не праздник казенные даты, да и слишком печально произнесла она тост.

Секретов меж ними не водилось решительно никаких, и, пригубив липкого портвейна, Соня спросила, что же означает сегодняшняя дата. Майка отмахнулась: мало ли что... Соня переспрашивать не стала, не стала и обижаться: не хочет — как хочет, зачем лезть в душу, даже самую близкую...

Лишь много лет спустя, чуть ли не под старость, когда увиделись после двадцатилетней разлуки, когда люди в стране, пускай еще с оглядкой, стали говорить о том, что подлежало умолчанию прежде, Майка, седая, измученная жизнью, уничтоженная смертью почти взрослого сына, перенесшая много такого, чего не приведи господь, сказала Суламифи: знаешь, я никому, даже тебе, Сонька, не признавалась, у меня папу и маму арестовали в тридцать седьмом, второго июля,

помнишь, в Сокольниках мы пили, я тогда пила за их память... И Соня выслушала, в который раз ужаснулась: боже, какие были времена, даже мне Майка не сказала, а ведь никаких тайн друг от друга не держали они...

Майка, подальше от греха (в Москве биография ее при оформлении на работу могла раскрыться), уехала в Чирчик, в Узбекистан, так и не объяснив Соне странность своих поступков. Соня же постылый диплом (красные корочки, вкладыш с пятерками по всем дисциплинам) положила в папку с защелкой и поутру, вяло позавтракав, отправилась по Москве — июльской... августовской... сентябрьской... Она читала объявления в «Вечерке», в витринах, на заводских проходных, заборах, столбах, в трамваях и троллейбусах, на фанерных щитах, отстуканные на машинке, отпечатанные в типографии, выведенные масляной краской, написанные от руки: требуются, требуются, требуются... приглашаем на работу... нужны специалисты... предлагаем... Инженеры-химики тоже требовались, их приглашали, им предлагали...

Соня или немедленно шла в заводоуправления, конторы, конструкторские бюро, если объявления висели тут же, или, внося адрес в записную книжку, мчалась в метро, троллейбусе, автобусе, трамвае, спеша оттого, что ей казалось, вдруг именно в эти минуты место окажется занятым...

Ее принимали кадровики, в большинстве своем мужчины, почти все похожие друг на друга, в полувоенных френчах, с властной повадкой, неулыбчивые, увесисто роняющие слова. На еврейку она походила мало, ее выслушивали, давали анкету, велели приходить, когда заполнит, и еще автобиографию, собственноручно написанную (занимала полстраницы, какая еще была у нее биография), и, когда приносила, кадровик, лишь бегло взглянув, без выражения в голосе и на лице сообщал, что, к сожалению, вакансия уже заполнена (хотя прошли только сутки, отмечала Соня)... Случалось и другое — более пронизательные, лишь взглянув на Соню наметанным глазом, объявляли: по ее специальности мест нет, в объявление вкралась ошибка... Соня пристраивалась на лавочке где-нибудь напротив отдела кадров, научилась — по неуверенной походке, по оглядке — угадывать тех, кто шел наниматься; дожидалась,

покуда они возвратятся, подходила, спрашивала, оказывалось — приняли, и нередко на должность, в которой отказали ей.

Окончательно доконал ее случай на автозаводе. Почти сломавшись, она туда по объявлению не пошла, позвонила из дому, когда в квартире никого не было, и голос непривычный, приветливый, даже как бы радостно извещал: да-да, инженеры-химики нужны позарез, приходите, пожалуйста, с четырнадцати до восемнадцати в любой день, лучше побыстрее, пропуск не требуется, вход с улицы, комната сто двенадцатая, приходите... Себе не веря, Соня идти не отважилась, на следующий день для проверки позвонила опять, снова услышала то же самое, хотя голос был мужской, не столь приветливый, однако лишенный равнодушной казенщины. Кадровик неспешно излагал условия, Соня поддакивала, теперь вроде и не она просилась, а ее как бы даже уговаривали... Кадровик настаивал, чтобы непременно явилась завтра, и под конец осведомился о фамилии, чтобы пометить, не взять кого-то другого, университетский диплом их устраивает больше, нежели прочие... «Лиф-шиц», — отдельно сказала она, возникла пауза. «Хорошо, товарищ Лифшиц, — сказал наконец кадровик, — вы приходите, да-да...» И Соня поняла: приходите не надо... И вспомнила: когда собирались в загс, будущий свекор, Николай Петрович, деликатно сказал: «Сонечка, может, вам имеет смысл взять фамилию Сережки, я знаю, вы против, но... Нет, не подумайте чего-то особенного... Но бывают ситуации, когда возникают недоразумения, если у супругов разные фамилии...» Не придала, счастливая, совету никакого значения, вдобавок охраняла личную независимость, вовсе ни к чему лишаться данной от роду фамилии, да и Сережка не думал настаивать... А что если Николай Петрович был прав? И тотчас себя осекла: черного кобеля не отмоешь добела, порося не превратишь в карася, и Суламифь Ефимовна Холмогорова так-таки оставалась бы Суламифью Лифшиц, в анкете пресловутый пятый пункт, где указывается национальность, торчит на своем месте, надобно его заполнять и сведения о родителях, включая их национальность, вписывались в анкеты наиподробнее...

Каждый день писала Сережке, отвечал регулярно, а от разговоров на эту тему как бы уклонялся, отделялся немногословными утешениями, наконец разозлил-

ся: не горячись, не делай из единичных фактов обобщения, у тебя цепь случайностей, нарываешься на дураков, перестраховщиков, чинуш, представь себе, следом за тобой явился опытный специалист, а не вчерашняя студентка, естественно, предпочли его...

То ли оторвался там, в армии, от реальности, то ли по любви утешал, Соня обидеться и не подумала.

Теперь она, пришибленная, бродила по улицам бесцельно, как школьница, удравшая с уроков, не заглядывала в объявления... Поначалу отец и мама каждый день подробно выпрашивали ее, успокаивали, советовали, уговаривали не падать духом; теперь они смолкли, глядели нестерпимо печальными глазами, отец прятался за газетой, мама вздыхала на кухне, когда не было соседей, и Соня с утра удирала из дому, только бы не видеть родительских глаз... Кусок не лез в рот, уже несколько месяцев не приносила в дом ни копейки, сидела на шее у папы с мамой...

Как-то, уже в декабре — захолустный переулок, невзрачное двухэтажное сооружение — увидела вывеску, размерами, внушительностью, значительностью, даже длинной никак не соответствовала величине и облику общепанного здания и сути. Вывеска гласила: «Всероссийское общество глухонемых. Учебно-производственное предприятие по изготовлению художественных изделий из пластических масс». Никаких объявлений — «требуются», «приглашаются». Шальное, отчаянное и злое озорство толкнуло Соню, вахтер спросил только, зачем идет, документов не потребовал, пояснил, что отдела кадров нет, а имеется лишь инспектор, и указал, куда идти.

Интересно, думала Соня, пробираясь по захламленному темному коридору, вот вахтер здесь — говорящий, но вдруг инспектор — глухонемой? Нелепая мысль взвеселила. Соня постучалась и не стала ждать отклика.

Кадровик, седенький розоволицый еврей, смахивал на доктора Айболита. Не расслышав, должно быть, что Соня поздоровалась, он быстро-быстро засигналил пальцами, по азбуке глухонемых, догадалась Соня, сказала озорно: «Ихъ ферштее нихът». Доктор Айболит засмеялся, молвил «Садись, дочка», представился церемонно — Еремей Саулович. И, тронутая обращением, с чувством солидарности, общности, близости, доверчивости Соня полностью назвала себя, протянула диплом и сказала, что готова на любую должность, что немного умеет ри-

совать и чертить — а у них ведь художественные изделия, — но, впрочем, она и работницей согласна, и росписью заниматься...

По-стариковски посмеиваясь, Еремей Саулович объяснил: насчет художественности придумали для солидности, а делают они обыкновеннейшие, с четырьмя дырками пуговицы, что же касается приема на работу, то надо идти к директору. Соня увяла, но Айболит, посмеиваясь, галантно взял под локоток, повел в глубь темного, пыльного, пахнущего химией коридора.

«Моя фамилия — Лифшиц», — объявила Соня, и директор, толстяк с развеселыми глазками, с лицом выпивхи и бабника, сказал не то с еврейским, не то с одесским выговором: «А моя — Нечипоренко, ну и что?» — усадил в креслице, угостил холодным нарзаном, изучил диплом и вкладыш с пятерками, изумил Соню, сказав, что вовсе никакое не предприятие они, а просто-напросто шарашкина артель, однако со штатами не хуже прочих, имеются и коммерческий директор, и главный инженер, и главный механик, и главный технолог, и главный бухгалтер — все главные, а рядовых специалистов нет, почему бы не платить людям оклад повыше, тем более что подчиняются они организации, похожей на общественную, вроде бы и не государственной, штаты утверждает Общество глухонемых. И не согласится ли Суламифь Ефимовна занять вакансию главного технолога с окладом по штатному расписанию в семьсот рублей?

На семьсот рублей можно было жить, приносить в дом полновесную долю, но все это походило на балаган, на ильфо-петровскую контору «Рога и копыта»: задрпаный дом с пышной вывеской, титулы главных при смехотворном жалованье, Айболит и директор, Соня решила: задумали поиздеваться над девчонкой, приготовилась выдать нечто надменно-горделивое, но директор — его звали Гнат Павлович — оказался ушлый, сразу же раскусил. «Вы не смущайтесь, — сказал он, — нашей продукцией ни вражеская разведка, ни «Джойнт» не интересуются, и национальности у нас всего две — говорящие и глухонемые, а на остальное наплевать».

И самолично, двумя пальцами на раздрызганной машинке отстучал приказ о зачислении.

Нового главного специалиста директор провел по цехам и подсобным помещениям, тыкал в Соню пальцем, объясняя подчиненным, кем является эта испуган-

но-радостная девчонка. Соня отмечала среди прочих и угрюмые взгляды, привычно относила их к антисемитским, не понимая по младости лет, что имеет дело с глухонемыми, что вовсе не национальность ее, на что плевали рабочие, а собственная их ущербность, от них так же не зависящая, как не зависела от нее, Сони, неполноценность, порожденная еврейским происхождением, озлобила этих людей.

Склад сырья — бумажные мешки с разноцветным порошком. Склад готовой продукции — картонные упаковки. Основной цех — низенькие полуавтоматы, в них кухонными совочками сыпали порошок, он стекал к электрическому подогревателю, попадал в пресс-форму, оператор, сидя рядышком, жал ногою на педаль, в короб вызаливались пуговицы, унылые, одноцветные, отнюдь не художественные. С четырьмя дырочками обыкновенные пуговицы.

Был опять семейный праздник, и было вскоре письмо Сережки: видишь, а ты пела зауспокойную; что же касается зарплаты, это можно перетерпеть, не последние годы живем. Соня понимала: столько лет живя на казенном довольствии, не знает он реальной ценности денег. Но жить и в самом деле можно.

Тянула ляжку, обучилась мало-мальски объясняться с глухонемыми; привыкла к их угрюмым взорам, усвоила, что должность ее — чистая синекюра: полуавтоматы, примитивные и потому безотказные, работали как бы сами по себе, в штате имелся наладчик, технологу в цехе делать было нечего, Соня стеснялась читать на работе, тупо сидела в кабинетике, иногда болтала с Еремеем Сауловичем, которому тоже нечем было себя занять. Бессмысленно и тупо прошло несколько месяцев, пока не демобилизовался в марте пятидесятого Сережка.

А сейчас, в феврале пятьдесят третьего, Суламифь Ефимовна Лифшиц, пока еще главный технолог шарашкиной артели, почти бежала по непривычно длинным и светлым коридорам, стараясь верить и не веря негладкому счастью.

Походило на сказку, миф, легенду, байку, розыгрыш, но говорили ведь многие и разные, в том числе вполне солидные немолодые люди: на крупнейшем, союзного значения, заводе берут без всяких ограничений («про-

центной нормы», шутили невесело). Соня долго не верила, звонила-перезванивала, друзья подтверждали: правда. Взяла на последние шиши такси, потом бежала по длинным коридорам, очень удивилась, когда в отделе кадров, как и в их артели, направили к самому директору, а ведь он в отличие от Гната Павловича руководил коллективом из двадцати тысяч человек...

Директор, опытнейший организатор, житейски мудрый шестидесятилетний Паршин, вовсе не был юдофилом, он был прагматик, деловой мужик и понимал, что подбор кадров по анкетному признаку есть чушь собачья. Во-вторых, евреи, как правило, квалифицированные специалисты: учатся обычно не за страх, а за совесть. В-третьих, получив работу, будут держаться за нее всеми копытами. В-четвертых, поставив их в общую очередь на получение жилья, Паршин не давал всяким там цехкомам и завкомам, как это делалось у других, вышибить или отодвинуть под любым предлогом из очереди, — значит, на жилье у евреев был здесь реальный шанс, пускай не скорый, но в ожидании его никто из них с работы не уходил, а получив ведомственную площадь, не уходил тем более. По тем же, в общем, причинам Паршин принимал и детей репрессированных. Словом, заполучал умных, исполнительных, ему лично преданных итээрмовцев. И, когда в райкоме, где состоял членом бюро, пытались упрекнуть в переборе, Паршин прямым текстом посылал инструкторов, завотделами, даже секретарей куда подальше, присовокупляя: мне важен план, а кто делает его, хоть зулусы, это меня не интересует и вас интересовать не должно. И Паршину в райкоме препятствовать не смели, поскольку он крестьянский сын, рабфаковец, ныне был не только директором крупнейшего завода, членом бюро райкома, но еще и входил в состав горкома, был депутатом Моссовета, носил медаль лауреата Сталинской премии первой степени и тьму орденов; поскольку отличался независимостью и властью; поскольку его завод всегда давал району весомый и устойчивый вклад в общие показатели.

Главный технолог предприятия глухонемых Суламифь Лифшиц после краткой, но весьма насыщенной и откровенной беседы с директором стала просто одним из технологов одного из бесчисленных цехов, там рабо-

тало впятеро больше народу, чем на прежнем ее предприятии. Прибавка заработной платы оказалась весьма ощутимой: не семь, а девять сотен рублей.

## ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Сталин гневался, он спешил, он лихорадочно придумывал все новые и новые детали, и гнев его и поспешность Берия понимал и ощущал каждодневно, поскольку раздражение Хозяина проявлялось даже в пустяках. Хотя бы в том, что, вообще-то изысканностью манер не отличавшийся, Коба матюгался редко, да и то в приятельском узком застолье, теперь чуть не каждый разговор начинал без приветствия, но той разухабистой бранью, какой щеголяют муши, грузинские носильщики. Берия ежился, чувствуя себя без вины виноватым, он делал все, как требовал Коба, и черт бы их побрал, этих интеллигентшечек, если, за исключением двоих, не желали согласиться с неизбежностью, пойти на уступки. Можно было, конечно, взять и прихлопнуть их без церемоний, но Сталин соглашался только на публичный процесс, притом в отличие от процессов тридцатых годов не в Колонном или Октябрьском зале Дома Союзов, а, высказывался он пока предположительно, допустим, в цирке, там самое большое количество зрительских мест и, кроме того, Сталина почему-то веселила сама выдумка: суд — в цирке... Но, где бы ни было, открытый процесс требовал тщательной подготовки, полной уверенности в том, что докторишки эти на публике не откажутся от показаний, данных предварительному следствию, как это случилось в свое время с Крестинским, не примутся темнить и намекать подобно Генриху Ягбде...

Чем дальше тянулась эта капитель, тем сильнее нервничал Берия. Как и большинство членов Бюро Президиума ЦК партии, затею с врачами-убийцами не одобрял, не был уверен, что пройдет она гладко (это не вожди, которых судили до войны, те оставались верны партийной дисциплине, давали нужные партии показания; и еще по ряду причин суду помогали; от этих же подобного не дождешься).

Переупрямить, переубедить Кобу никто, конечно, не брался, отменить процесс могла только смерть Хозяина,



и Берия этого жаждал, но Коба умирать в ближайшее время не собирался. И было в поведении Его такое, что для членов Бюро выглядело как прямая опасность.

Сталин не болел, а дряхлел на глазах; домашний врач ежедневно докладывал Берии, что у товарища Сталина все в норме; однако, начиная примерно с сорок девятого года, поступки его становились все более непредсказуемы, казались порой сумасшествием.

Ему опять мерещился призрак партийной оппозиции, убийство Кирова не успокоило, Питер торчал костью в горле. В сорок девятом он приказал повернуть «ленинградское дело», убрал ничем не опасных тамошних руководителей, убрал бывшего секретаря Ленинградского обкома и горкома Кузнецова, только что переведенного в секретари ЦК, обласканного и обрадованного и хотя бы поэтому безусловно преданного Ему; заодно к этому делу взял да и прихлестнул самого молодого из членов тогдашнего Политбюро и самого образованного, академика Вознесенского, причина была дураку понятна: однажды Сталин официально, на заседании объявил Вознесенского своим преемником в руководстве партии и в правительстве, но вскоре явно испугался, что либо сам Вознесенский, либо они, приближенные, сумеют ускорить Его кончину, поскольку Вознесенский, разумеется, не был для них опасен и грозен, да и не обязательно в конце концов — вовсе не обязательно — исполнять волю покойного, умрет, поставят кого захотят или же кто-то сам сумеет захватить власть. Конечно же, думал Берия, на главной роли Вознесенскому не бывать, власть возьмет он, Берия, и, вероятно, Сталин догадывался о его намерениях, ибо возможности Берии были велики в отличие от Вознесенского и прочих: он располагал грозным оружием, своими органами, поставленными, по сути, над Президиумом ЦК и всеми прочими конторами.

И зондажем, и предупреждением был негаданным ход, сделанный Сталиным на организационном Пленуме после Девятнадцатого съезда: открыв заседание, Он сразу же объявил, что просит освободить его от обязанностей Генерального... Наступила гнетущая тишина. Все, с кем после разговаривал Берия, вспомнили в эту минуту Ивана Грозного: и тот юродствовал, отрекался от престола в пользу какого-то замухрышки, для этой нужды крещенного татарского князька, удалялся из Москвы, оттуда слал новому государю раболепные послания, а, возвратившись, рубил головы подряд всем,

кто по его же повелению короновал этого татарина и воздавал ему царские почести...

Опомнившись, все на Пленуме загудели протестующе, на трибуну шустро, всех опережая, взбежал Микоян, сотрясая воздух клятвами, только что в ноги не падал... Сталин покобенился, наконец сказал: хорошо, так и быть, останусь, но только звание Генерального упраздним, буду называться просто Секретарем... И распорядился, чтобы в официальных всяких сообщениях на первое место ставили его должность Председателя Совета Министров, а затем — Секретаря ЦК. Все понимали: это игра, смирение паче гордости, перемена вывески ничего не меняет по существу, однако нервы Коба потрепал им на заседании изрядно: с одной стороны, его слово — закон, с другой — поди попробуй проголосовать за его освобождение от руководства партией... Тем более что голосование на пленумах открытое...

Он приказал арестовать жену Молотова и вопреки обычному порядку заставил на распоряжении расписаться всех членов Политбюро, Молотова в том числе. Берия помнил, как Вячеслав, белый до синевы, трясущимися пальцами держал поданную Сталиным ручку, вывел свою фамилию, не вымолвив ни слова...

Но у любого безумия должны быть границы, думал Берия, дело врачей — за пределами рассудка, и уж тем более — то мероприятие, что должно было последовать за казнь этой злосчастной восьмерки. Даже если Сталин скоро умрет — и не успеет при этом ликвидировать их, самых приближенных, — все равно казнь врачей и последующие акции мир не забудет, престиж Советского Союза — сейчас, после Победы, весьма высокий — окажется подорванным навсегда. Можно ли предугадать в этом случае действия Штатов? Ведь там он как силен еврейский капитал, он активно влияет на правительство, которое, по сути, у него в руках. А западная интеллигенция? Наша-то промолчит, а те, конечно, вспомнят и суд над Дрейфусом, и дело Бейлиса, и погромы, — это еще полбеда, а беда в том, что сразу же проведут параллель с Гитлером, и главный фактор, на котором держится наш престиж — Победа, — окажется смят, более того, обернется противоположностью: победив германский фашизм, установили свой собственный, у себя...

Одно дело — тридцатые годы, тогда Запад не вмешивался, там полагали — решаются какие-то внутренние

проблемы, идет внутривнутрипартийная драчка, где не бывает ее; даже умница Фейхтвангер поверил, побывав на процессе, написал книгу «Москва, 1937», восхвалял Сталина, клеймил врагов не хуже нашей прессы... Теперь — иной коленкор, теперь Запад не промолчит, не поверит; хорошо, если окажемся в полной изоляции, а если — война? Войны сейчас нам не выиграть, это уж точно. Экономика подорвана, люди устали, а кроме того, Коба затюкал интеллигенцию, а как ни крути, все-таки она определяет общий духовный настрой. Напрасно, ох как напрасно проводил он эти кампании — с журналами, с театрами, с кинематографом, с литературной критикой... Пока убирал своих соперников — или тех, кто ему соперником казался, — ну ладно, куда бы ни шло... Но всякие там Ахматовы, Зощенки, Мурадели... Они-то Ему не угрожали ничем... Выдумал дискуссию о языкознании — на кой хрен? Так называемый народ все равно ни черта не понял... Этими шутками народ не сплотишь и не запугаешь, кому в голову придет разбираться, кто такой Марр, в чем его научные достижения или ошибки... Звук пустой... Нет, Коба потерял разум, порет чушь и горячку, шарахается куда ни попадя...

Но с врачами надо кончать. Тут все поставлено на карту: либо — их, либо — его, Берию, не зря Коба намекал на нерасторопность органов безопасности; так сказать, честно предупреждал. И если дело сорвется — в первую очередь спета его, Берии, песенка. Попал ты, Лаврентий, в адову карусель, теперь выкручивайся, выскоочишь — спасешься, иного выхода нет... Разве если бы Он слох. Однако на то надежда плоха, примёт не видно...

## ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Утренней оправки, столь необходимой после давнего вечернего облегчения организма, Арон Лейбович Рухимович ждал с нетерпением, ужасом, омерзением, чувством безнадежности.

Сын местечкового еврея из-под Гродно, Арончик, ломая все препоны, поступил-таки в частную гимназию, получил похвальный лист и наградную книгу сочинений пана Адама Мицкевича, удостоился быть домашним учителем у купца-единоплеменника, чуть было не женился на дочке хозяина, однако выгодному брачному ге-

шефту предпочел отнюдь не выгодное, а опасное членство в подпольной революционной организации молодежи, намеревался вступить в Коммунистическую партию Польши (не пугало то обстоятельство, что правящий режим бросил в тюрьму около пяти или шести тысяч членов КПП), а затем постановлением сталинского Коминтерна ее распустили, поскольку она стала прислужницей фашистского главы государства Пилсудского. Но вскоре, в сентябре 1939 года, доблестная Красная Армия протянула братскую руку помощи народам Западной Украины и Западной Белоруссии, и тогда же, в тридцать девять, Арон Рухимович стал членом Всесоюзной Коммунистической Партии Большевиков — именно так, вопреки общепринятому начертанию, каждое слово с прописной буквы — он мысленно и на бумаге обозначал свою партию, самую прогрессивную, самую гуманную, самую что ни на есть марксистскую, руководимую гением человечества товарищем Сталиным. Арон стал членом этой ведущей партии мирового коммунистического движения, благо жителей добровольно (при активной поддержке Красной Армии) присоединившихся Западных Украины и Белоруссии в члены ВКП(б) принимали без особых проволочек, поскольку прежние, подпольные партийцы бывшей панской Польши, чудом уцелевшие при фашисте Пилсудском, сплошь оказались шпионами, быстро и четко разоблаченными сталинскими органами, наследниками Чрезвычайной Комиссии, основанной известным и славным поляком Феликсом Дзержинским.

Вскоре, как только завершился кандидатский стаж, Арон Рухимович стал секретарем партийной ячейки, пускай маленькой, но зато, когда при ЦК Компартии Белоруссии открыли засекреченные курсы подготовки политработников Красной Армии, он подал заявление в числе первых, обучился четко печатать строевой шаг, стрелять из винтовки, пистолета, автомата, произносить зажигательные речи — правда, с еврейским акцентом, — носить гимнастерку, ловко перетянутую комиссарским, со звездой на пряжке широким ремнем. Ему, сыну местечкового портного, присвоили звание старшего политрука (шпала, шпала в петлице, а не кубари!), и двадцать второго июня утром он явился в военкомат, получил назначение комиссаром батальона (он-то полагал, что будет всего ротным политруком); вскоре прикрепил к петлицам и вторую шпалу, выдвинули комиссаром полка, получил орден Красной Звезды и особо

почетную медаль «За отвагу»... Начал сочинять стихи на идиш, стихи, сам понимал, к поэзии не имели отношения, но содержание их было патриотическое, агитационное, боевое. Переводил на русский самолично, печатали в дивизионной, иногда в армейской газете. Учитывая актуальное содержание, Политуправление фронта распорядилось выпустить отдельным сборничком, а потом военная комиссия Союза советских писателей — тогда не водилось формальностей — приняла в свои ряды. Съездил на двое суток в Москву, получил членский билет, приглашали в армейскую газету, отказался; в звании подполковника воевал в Сталинграде, нарвался на мину, ампутировали обе ноги, слава Богу, хоть ниже, а не выше колен, долго валялся в госпитале, туда и пришел приказ о награждении орденом Отечественной войны, еще редким в ту пору; уволили, конечно, по чистой; родителей и всех родственников уничтожили фашисты, очутился в областном приволжском городе, голодном, забитом эвакуированными, искалеченными, приبلудными; работал в газете до той поры, пока заочно знакомый — посылал ему стихи — редактор из Биробиджана не пригласил в свой город, центр Еврейской автономной области, где требовалось и укрепить кадрами редакцию и создавать заново подорванную войной писательскую организацию; согласился, стал заместителем редактора и штатным секретарем отделения Союза писателей.

«Биробиджанер штерн», то есть «Биробиджанская звезда», выходила еле-еле, тираж три тысячи, местных подписчиков почти не имела, но зато пользовалась не вполне понятным вниманием за рубежом, и в начале мая 1951-го, в разгар кампании против космополитов, обком получил письмо от некоего зарубежного журналиста: почему, дескать, в еврейской области все лозунги — смотри в газете снимок праздничной демонстрации — написаны по-русски, где же ваша хваленая политика равноправия... Лозунги, конечно, демонстрантам писала и раздавала не редакция, однако попрек пал на нее; дежурил по номеру Арон, ему и досталось отвечать... Посадили, просидел год, и — без толку, не знали, с какого боку подступиться, после же прихлестнули Арона к обвинению еврейских писателей — Маркиша, Квитко и других — в буржуазном национализме, его добавочно — и в великорусском шоввинизме; держался на ногах стойко, ничего не подписывал, тогда распоряди-

лись просто: отобрали протезы, отобрали очки, минус шесть диоптрий, он тут — обезноженный, полуслепой — сломался, объявив себя, как велели, и членом Союза Михаила Архангела (за советские лозунги на русском языке) и — одновременно — агентом «Джойнта» (вместе с прочими подсудимыми требовал передачи Крыма евреям)... Наконец, пожизненная ссылка в Караганду... И вот опять — Лубянка...

Захолустный городишко Елец, смутный в памяти, затем отчетливый Харьков, чугунка, где отец распоряжался каким-то складом; случайное знакомство со знаменитым авиатором Уточкинским; приз на велогонках; внезапная кончина отца, пошел в жокеи, прекрасный, благороднейший запах конюшни, аплодисменты публики, шампанское — почту за честь, господин Вершинин, поднять этот бокал; японская война, Георгиевский крест на гимнастерке недоучившегося студента-санитара; пенсия инвалида, Московский университет, частная практика, Швейцария, Париж, опять первопрестольная, заведование отделением Второй Градской больницы, преподавание на Высших женских курсах, покровительство знаменитого врача Григория Антоновича Захарьина; первая мировая, Октябрь, Красная Армия, гражданская война, разработка принципиально нового метода лечения разрыва сердца, Отечественная, генеральский чин, ордена, ученые степени, звания, слава...

Процесс Бухарина — Рыкова, где судили в числе прочих докторов Левина, Плетнева, Казакова, медицинская экспертиза; милейший Андрей Януарьевич Вышинский, эрудит, европеец, вдруг вылез жандарм... Ваше дело, многоуважаемый Василий Николаевич, неволить никого не станем, однако, понимаете, одно дело — мы, другое дело — та м... И многозначительный перст вверх... И акт: «Безусловно, документально подтверждаются преступные... Смертельный исход был неизбежен...» Жалкие глаза профессора Плетнева, Дмитрия Дмитриевича, оклеветанного еще двумя годами раньше — будто бы садист, насильник...

...Чего тебе не хватало, сволочь, заорал на него, старика на восьмом десятке, генерала, академика, лауреата, мальчишка-лейтенант, он накачивал себя злобой, он робел, допрашивая столь высокое лицо, он от собственной трусости нагдел или старался облаглеть, или пы-

тался хотя бы выглядеть наглым, и Василий Николаевич молчал устало и почти сочувственно к этому винтику, вставленному в гильотину, в мясорубку, в франкенштейноподобную махину, очеловеченную внешне, обесчеловеченную изначально, и этот несчастный винтик, в свою очередь загодя обреченный, стеснительно матерился, застенчиво бил по стариковским щекам генерала, академика и прочая, он, лейтенантик, мальчишка, букашка, то ли не ведающий творимого, то ли перепуганно-покорный, то ли верящий вполне искренне — кто их разберет...

Английский шпион... Бред, нонсенс, химера, идиотия. Но, может, подписать? Чем нелепее обвинение, тем больше оснований, чтобы не поверили — следователи, судьи, публика, пресса, наконец, те, кого пользовал он... Подписать? В конце концов, дадут какой-то срок — не все ли равно, где кончать с жизнью, счастливой, плодотворной, приближенной к естественному концу... Нет, не подпишу... Не могу взять на душу грех...

Открылась не форточка, куда совали — подставляя миску — черпак овсяной баланды, пронизанной капиллярными волокнами соленой морской рыбы с подлым запахом, — открылась дверь, и двое слаженно грянули сапогами, приказали сесть на откидной табурет, задрать штаны до колена. Стариковские лодыжки охватило твердым, звонким, хладным, неловким, шершавым, брэнчалом тяжелое об пол. Поверх пояса казенных брюк стянули брезентовую полосу, похожую на обрезок пожарного шланга, шнурком подтянули к ней громыхливые, веские, унизительные кандалы, те самые, что приказал изготовить Великий Вождь, что поручили исполнить Музею Революции, те, что изготовил в мастерских Южного порта старик кузнец, тотчас же убранный.

Я протестую, закричал Вершинин визгливо, это незаконно, это глумление, это хамство, наконец... Двое молчали, бессловесные рабы, замкнули снаружи дверь, и Вершинин ткнулся голым черепом в откидной столик, плача молча и беспомощно.

Повинуясь приказу надзирателя, Арон Лейбович пополз.

На коленях вместо кровотокащих ссадин уже сформировались бесчувственные мозоли, хоть гвоздем тычь,

не больно, и не в боли заключалась унижительная, тошнотная, истребляющая человека суть.

Он шел по голым коридорам, слепящим такими же голыми, болезненными, сверлом в голову лампами, шел, непривычно неся тягостные кандалы... Переходы, изгибы, подъемы, спуски, запахло клозетом, старший охранник сказал: «Иди на оправку».

Для этой нужды сюда не было необходимости вести, в камере стоял унитаз, но, если приказано, следовало исполнять, Вершинин послушно сунулся в дверь, передернулся, коснувшись тюремными кобами нечистого пола, и — увидел...

Над прямоходным ватерклозетным отверстием, устроенным в полу, висел, упершись руками в загаженный пол, спустив штаны, заведя назад ампутированные ноги, жалко и виновато моргая близорукими глазами, еврейского вида человек. Напряженные руки едва удерживали над клозетной дырою ребрастое тело.

— Получил? — спросил следователь, указав пальцем на кандалы. Да, кивком подтвердил то, что не требовалось подтверждать, Вершинин.

— Того засранца видел? — поинтересовался юный лейтенант, и снова академик, генерал, лауреат согласился: видел.

— Общий наркоз, ампутация нижних конечностей плюс ножные и ручные кандалы — устраивает? — заученно спросил гзбешник, и Василий Николаевич сказал столь же кратко, хотя и не заученно: нет, не устраивает.

— Подпиши, — велел мальчишка в погонах, и Вершинин подписал не глядя.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Счастливая мысль использовать безногого Арона Рухимовича как наглядное пособие, а затем предъявить всем обвиняемым — поочередно — признание академика Вершинина с его подписью, знакомой всем арестантам, а Василий Николаевич слыл среди них самым уважаемым, авторитетным и бескомпромиссным, — оба эти



фактора подействовали безотказно. Подмахнули все, что требовалось.

Процесс назначили в цирке. Сталин настоял и был непреклонен — на четверг и пятницу, 5 и 6 марта, с тем расчетом, чтобы субботние газеты напечатали приговор, в воскресенье же — оно совпадало ныне с Международным женским днем — должно было осуществиться гала-представление, порядок его был Им утвержден и теперь, на радость Берии, не требовал никаких изменений, уточнений, добавлений, кроме разве непредвиденных пустяков.

Состав публики отработали тщательно: треть — сотрудники госбезопасности в штатском, они в специальной проверке и подробных инструкциях не нуждались. Номера мест в пропусках им определили так, чтобы сидели равномерно между остальными приглашенными.

Списки остальных приглашенных были составлены по указанию райкомов, которые сами не знали, для чего это нужно, предприятиями, учреждениями, научно-исследовательскими институтами, вузами, воинскими частями гарнизона, подмосковными колхозами и совхозами. После утверждения на бюро и просмотра списков в МГБ каждого приглашаемого вызывали в районные отделы госбезопасности, еще раз сверяли анкетные данные, вчитывались в партийные, комсомольские, служебные характеристики, брали подписку о неразглашении как самого факта присутствия на особом собрании, так и всего увиденного и услышанного там. Пригласительные билеты, сказали каждому, выдадут по месту работы утром восьмого числа, для чего следует явиться, несмотря на праздничный день, в свое учреждение или на предприятие.

Отчеты о еще не состоявшихся четырех заседаниях трибунала — изложение показаний обвиняемых, свидетелей обвинения, речей адвокатов — написали юристы и журналисты экстра-класса и высокого ранга (пользовались материалами следствия), затем отчеты долго и придирчиво — каждый со своих позиций — редактировали начальники управлений бериевского министерства, потом их утвердил он сам; наконец, завизировал Сталин вместе с речью Генерального прокурора. Запечатанные пакеты с текстами легли в личный сейф Рюмина: после окончания каждого заседания отчеты предстояло с нароч-

ным отправлять в ТАСС для немедленной передачи в редакции центральных и областных газет. Одновременно с ТАССом экземпляры должны были получать Всесоюзное радио и Московское, еще не очень развитое телевидение; передачи его принимались в квартирах «КВН» с экраном размером с коробку «Казбека». Только у самого высокого начальства были заграничные приемники, с экранами куда больше.

На учебном полигоне отдельного автомобильного батальона войск Московского гарнизона МВД вторую неделю ежедневно, по три часа подряд происходили не то занятия, не то тренировки, изнурительные бессмысленностью. Шестнадцать новеньких трехтонок «ЗИС» — прямо с завода, хорошо там обкатанные, с ободьями, окрашенными белилами, как для парадов, при водителях в специального пошива кожанках с золотыми капитанскими погонами и так же одетых дублерах в каждой кабине, — шестнадцать грузовиков двумя равными группами (интервал между машинами — три метра, между группами метров пятьдесят — шестьдесят) три часа свершали бессмысленные, отупляющие действия.

Из колонны разворачивались в шеренгу, образовывали разрыв между первой и второй восьмерками, пятились, держа равнение, к длинному, специально построенному забору, подкатывали к нему вплотную, с опущенным задним бортом, выдерживали некоторую паузу. Потом, по взмаху флажка стоявшего на возвышении полковника, водители, не прибавляя оборотов, медленно трогали, отъезжали до широкой меловой черты, проведенной по утрамбованной, расчищенной от снега земле, переключали скорость, на ходу выстраивались в колонну, мчали опять к гаражу, чтобы оттуда начать идиотскую канитель заново. Капитаны-водители понимали и выполняли только то, что приказано: строго соблюдать равнение и скорость на каждом этапе, выдерживать интервалы, трогаться от забора абсолютно одновременно и плавно. Больше не объясняли ничего. Капитаны терпеливо несли свой крест, матюгаясь только молча, хотя были убеждены: и трех дней хватило бы на отработку несложного задания (или — ритуала?), а их мотали целую неделю, и конца не было видно.

В трудовом — так он теперь назывался — лагере, где строили поселок для будущих железнодорожников

БАМ, на линии электропередачи, протянутой от Биробиджана, крепили дополнительные провода. Поселок уже вырос, готовили к сдаче, и моментально по лагерю понеслась очередная параша: проводят радио, чтобы известить об амнистии, а также о награждении самых отличившихся эзков. В лагерях слухи возникают часто, быстро, принимаются на веру легко, особенно когда касаются предполагаемых сроков освобождения или, на худой конец, сокращения сроков. И в самом деле, вскоре в каждом бараке, включая и санитарный, повесили на стенки радиорепродукторы из черного картона, однако они пока безмолвствовали, хотя пустившие парашу все-таки в своих предположениях были отдаленно и правы: радио протянули действительно для того, чтобы эки слышали самолично важнейшие сообщения и репортажи, что должны были поднять их моральный дух.

Доктор Плетнев теперь поднимался трудно, лишь на время обхода, сопровождая начальника медсанчасти, остальное время лежал в своем закутке, и Либману прибавилось забот, однако Бертольд Северинович не роптал даже в мыслях.

Парашу насчет амнистии принес, конечно же, культурник Саша, доктор Плетнев выслушал, казалось, равнодушно, ни о чем не спросил, чем даже как бы обидел парня. Но вскоре Дмитрий Дмитриевич попросил валерьянки, пил ее каждый час двойными дозами. Он понимал, что жизнь завершается, но каким было бы счастьем умереть не здесь, а в Москве, умереть там не сразу, а хотя бы на второй день после возвращения, по-видав немногих из оставшихся дальних родных...

Знаменитого спортивного комментатора пригласили к Рюмину. Потолковали о футболе — грозный заместитель Берии проявил осведомленность и оказался болельщиком «Спартак», комментатор подтвердил превосходство этой команды — хотя сам симпатизировал динамовцам, — а после кофе с коньяком пугающе гостеприимный и вежливый генерал предложил пройти в соседнюю комнату. Все, обреченно подумал комментатор, понаслышанный о коварстве гэбистов, и полпелся, отсчитывая зачем-то шаги, каждый из них мог оказаться последним.

Соседняя комната оказалась не камерой пыток, а залом заседаний с задернутыми светонепроницаемыми шторами, освещивали мягкие бра на стенах. Рюмин пригласил в средний ряд, спросил, может ли уважае-

емый — последовало, как на протяжении беседы, имя-отчество — без предварительной подготовки, без текста и репетиции провести репортаж на тему не совсем спортивную, но в какой-то мере близкую... Размышлять не приходилось, комментатор послушно согласился. Рюмин сделал знак рукой, свет погас, засветился экран и возникли кадры Первомайской демонстрации на Красной площади, лента шла с отключенным звуком. Начинаяте, прошу вас, проговорил Рюмин, и комментатор затараторил привычной футбольной скороговоркой. Минуты через три молчаливый генерал остановил деликатно: извините, не совсем так, прошу вас, помедленней и побольше пафоса, поторжественней; и комментатор моментально перестроился.

Через полчаса Рюмин поблагодарил, осведомился о здоровье семьи, попросил в течение ближайшей недели не отлучаться из столицы, поскольку, не исключено, комментатор может оказать им услугу. До Первого мая далеко, но комментатор подумал: может, привлекут к озвучиванию старой ленты, мало ли чего... Главное, ничего не случилось страшного. Правда, не совсем понятно, при чем тут Рюмин, когда существует Министерство кинематографии, существует Спорткомитет, но это уж их забота разбираться промеж собой. Главное, никакой опасности ему, кажется, не предвиделось. И он даже подумал нахально, что не прочь был бы еще отведать вкусного кофе с великолепным коньяком в компании грозного Рюмина, человека вполне благовоспитанного, интеллигентного — возможно, зря о нем распускают всякие страсти-мордасти...

С теми же церемониями, что и комментатор, был принят, угощен и опробован на том же фильме известный детский писатель, тоже еврей; обласкан, отпущен с миром и тою же вежливой просьбой не отлучаться.

Затем доставили Главного режиссера, отнюдь не перепуганного, ибо знал, для чего позван. Улыбки, рукопожатия, кофе, коньяк следовали своим чередом. За словом настало дело. Безупречно отпечатанный сценарий с приложением разноцветных схем генерал просмотрел быстро, сноровисто, выяснилось, что умеет схватывать суть даже в области, от него далекой, высказал дельные замечания, и Режиссер, осмелев, попросил уточнить кое-какие не совсем ясные детали, на что хозяин кабинета ответил вежливо: это не столь существен-

но, детали отработают другие товарищи, Главного режиссера не годится отвлекать на мелочи.

Прощаясь, Рюмин приглашал заходить, словно и на самом деле к нему можно было заглянуть на кофеек по-приятельски, будто кто-то по доброй воле полез бы в клетку выпить коньячку с только что отловленным в тайге тигром...

Напоследок Рюмин принимал Главного художника, того попросили — еще три дня назад — подготовить эскизы в окончательном варианте, притом два экземпляра, абсолютно идентичных. Поутру Художник со своею бригадой чуть не в лупу еще и еще раз пересмотрел планшеты — превосходный ватман, великолепные тушь и акварель, доставленные с Лубянки. На обороте поставили пять своих подписей, переложили планшеты картоном, с великим тщанием упаковали, перевязали не бечевкой, а шелковой тесьмой, три упаковки оказались громоздкими, в «Победе» могли не поместиться, но товарищи с Лубянки предусмотрели по собственной инициативе и это, приехали в просторном семиместном «ЗИСе». Главный художник уселся, гордый и оказанной честью, и предупредительностью, и ответственностью поручения, и тем, что, кажется, они впятером сработали и добротню, и нестандартно, и даже талантливо. Жаль, к Рюмину его коллег и помощников не пригласили, некому будет выслушать похвалу.

По коридорам связки планшетов несли офицеры, точно иконы держали во время крестного хода, Главный художник, нервнически веселясь, подумал, что ему самому только что кадила да наперсного креста недостает, и даже улыбнулся, представив себя — с впечатляюще иудейской внешностью — в православном священническом облачении.

Рюмин встретил тоже веселенький — Художнику где было знать, что коньячку по служебной необходимости генерал сегодня хлебнул трижды — в компании с Комментатором, Детским писателем и Режиссером, благодатный напиток был подан и теперь. Художник пил без опаски, запросо с грозным Рюминым, жаль, никому не расскажешь... Генерала шатнуло разок, повинился перед гостем: служба такая, приходится и выпивать; и сострил привычно, мол, сам Бог велел, у меня и фамилия соответствующая...

Вдвоем, на равных, без посторонней помощи расставили в ряд стулья, Художник разместил на сиденьях,

прислонив к спинкам, отменно выполненные планшеты, попросил разрешения кратко пояснить суть общего замысла. Рюмин слушал с пониманием — интеллигентный человек! — лишь на одном фрагменте общего плана задержался, задумался, не выражая, впрочем, неудовольствия, только размышляя, и даже, будто на выставке профессионал, рассмотрел фрагмент через неплотно сжатый кулак, это уже перегнул, подумал Художник, не живописное полотно этаким манером рассматривает... Осведомился, имеются ли в мастерских вторые экземпляры — словно бы его распоряжение могли не исполнить! — и, получив подтверждение, попросил оставить все привезенное, чтобы показать Лаврентию Павловичу и, возможно, и... Он многозначительно повернул голову к портрету на стене. А прощаясь, среди общих фраз, как бы мимоходом осведомился, имеет ли Художник — будто не изучал его биографию, прежде чем дать задание, — имеет ли он Сталинскую премию. Огорчился, сказал, что это дело поправимое...

На том «день работников искусств» закончился — плодотворно для Рюмина, благополучно для приглашенных. Остался еще один, но с ним следовало и предполагалось побеседовать в ином месте и по другой методике.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Если бы посторонний каким-то фантастическим образом мог оказаться здесь, в этой невысокой комнате, скупо, даже скудно обставленной, притемненной с утра тяжелыми шторами, устеленной недорогими, лишь бы скрадывали звук, коврами, с единственной, редкой по тем временам роскошью — камином, лишенным, однако, обычных украшений, — он в первые мгновения скорее всего не узнал бы человека, что сгорбился в низком удобном кресле перед пылающими поленьями, одетого в длинный халат, кое-где не прикрывающий солдатского бязевого белья, обутого в низкие, без твердых подошв, собачьего меха сапоги-чулки, человека, знакомого в лицо всем без исключения в стране и почти не похожего сейчас на себя, каким его привыкли видеть, знать, помнить.

Отблески живого пламени трепетали, неровно освещая фигуру и лицо, они то затемняли, то высвечивали

на щеках — впалых, с резкими морщинами — неглубокие, но частые оспины, незаметные ни на одном изображении; волосы на голове просвечивали, было видно, как они редки, а не плотно-густы. Грудь, не обтянутая подбитым ватой френчем, была впалой, и это подчеркивало жидкую выпуклость брюшка; рука висела безвольно, едва не касаясь ковра; глаза, на портретах пронизительно прищуренные, были сейчас тусклы и полуприкрыты тяжелыми набрякшими веками; усы обвисли; подбородок обмяк.

Старый, почти дряхлый, даже на вид одинокий человек в неряшливой одежде помешивал огонь в камине, изредка брал щипцами уголек и разжигал гаснувшую трубку, отхлебывал глоток вина, ничуть не хмелея и не взбадриваясь от этих редких мелких глотков слабого kindзмараули.

Если бы посторонний увидел его таким, не узнав сразу, он испытал бы, наверное, жалость и сочувствие к одинокому, неухоженному, почти дряхлому старику, но посторонний не мог проникнуть сюда, в невысокую сумрачную комнату, а случись такое чудо, не увидел бы того, что видели только немногочисленные люди из челяди.

Ничего не болело — и одновременно как бы страдало все тело, усталое, недужное, слабое. Воля к жизни ухнула, мысль рассредоточивалась, растекалась, внешность менялась катастрофически. Ему только что исполнилось семьдесят три года, но чувствовал он себя и выглядел много старше.

Гораздо больше, чем он сам, походил на Сталина актер Михаил Геловани, осанистый, с тихой, но твердой, без пришаркивания походкой, уверенным выражением лица, моложавостью всего облика. Геловани родился раньше на тринадцать лет, впервые сыграл роль Вождя, когда перевалило на половину пятого десятка, и с тех пор стал почти монополистом на исполнение этой роли, другие актеры с ним сравняться не могли. Иногда приходило странное ощущение: будто не Геловани выступает в образе Сталина, а Он сам исполняет роль Михаила Геловани, загримированного под Него.

Когда обрушилась старость, он перестал фотографироваться (размножали прежние, где он моложе, портреты), редко появлялся в кинохронике (и только на средних планах), о том, как он выглядит, народ судил либо по этим изображениям, веря им, поскольку Он

давно стал если не Богом, то полубогом, а боги, известно, неподвластны течению времени, либо народ судил по заgrimированному и точно перенявшему Его манеры, повадки, жесты Михаилу Геловани. Кремлевская и кунцевская челядь наблюдала его, так сказать, в натуральном виде, но это не причиняло особого беспокойства: их мало и они болтать не станут.

Старость грянула разом, едва кончилась война: надорвался, устал, не берег себя и после Победы, на какое-то время отпустил вожжи, расслабился — оказалось, необратимо. И, с ужасом поняв, что дожить до девяноста лет, как он себе положил, заведомо не удастся, он торопился осуществить все задуманное побыстрее и, кроме того, придумать нечто новое, неслыханное, что еще прочнее закрепило бы его имя в бессмертной памяти бесчисленных поколений.

Страна еще не завершила восстановление хозяйства, разрушенного и подорванного войной, а Он в пятидесятом повелел приступить к сооружению гигантских гидроэлектростанций и каналов, к строительству в Москве высотных зданий, к развертыванию всевозможных народных починов. Но ГЭС, каналы, небоскребы существовали и в других государствах — требовалось нечто иное, не имеющее аналогов.

Инициатива должна была исходить от него — ибо все важное в стране исходило от него: он разгромил оппозицию, он осуществил индустриализацию и коллективизацию, он выиграл страшную войну, приступил к великому преобразованию природы, создал государства нового типа — страны народной демократии, ликвидировав тем самым капиталистическое окружение СССР, в короткий срок создал атомную бомбу...

Сейчас, когда он постарел, когда жить осталось мало, когда идеи, в сущности, иссякли, он решил напоследок осуществить давно задуманное, до чего прежде не доходили руки. И он повел подготовку исподволь, так, что даже самые ближние не понимали, к чему клонятся кампании, предпринятые им предварительно. Лишь видели то, чего нельзя, невозможно было не увидеть, сокрушающий удар — притом не краткий, а растянутый во времени — он обрушил на интеллигенцию.

Еще совсем малышом он понял: его отец, сапожник, — пьяница (позор для грузина!), его мать ходит обстирывать и прибираться в домах чужих людей (по-



зор для грузинки!), семья их бедна не той честной бедностью, что вызывает сочувствие, а совсем другой, порожденной пьянством, безалаберщиной, отсутствием порядка в доме; если бы при этом Виссарий и Екатерина Джугашвили имели нескольких детей — бедность семьи была бы протительной; но Сосо был единственным ребенком и это вызвало не сочувствие, а насмешки сперва над родителями, затем над ним самим; не имея братьев и сестер, в окружении многодетных семейств он чувствовал себя неполным, обездоленным.

Он был с детства нехорош собой и рано осознал это: короткое узкое туловище, непомерно длинные руки, маленький рост. Ему было девять лет, когда он повредил левую руку и плечо — безжалостные сверстники высмеивали его, и он замыкался, не участвовал в играх, сделался молчаливым и угрюмым; увечье, угрюмость и молчаливость остались в нем на всю жизнь. А злоба против соседей, соучеников постепенно обернулась злобою против всех на свете, породив жестокость и мстительность.

Когда минуло одиннадцать, умер отец, и мать определила Сосо в духовное училище, а после окончания — в православную духовную семинарию: видеть сына священником было для нее, безграмотной крестьянки, даром божьим. Вряд ли из него получился бы хороший священник: он не любил людей и был плохим проповедником, речь его была монотонна, медлительно-тускла. Из семинарии его исключили — в 1901 году он стал профессиональным революционером.

Он хотел слыть знаменитым теоретиком. Но ум его, иссушенный семинарской зубрежкой, был догматичен, образование — односторонне и ограничено. Попытки писать свелись к агитационным статьям в социал-демократических газетах и листовках; зато организатором он оказался умелым.

Он вспоминал причитания матери: будешь священником, проповедником, исповедником, наставником, уважаемым человеком! Но оказалось, чтобы утвердить себя, есть иной путь.

Трезвым нюхом он почуял — к эсдекам, приверженцам Ульянова! Похоже, и тот не чуждался тщеславия и честолюбия, умел нащупать момент, умел, когда надо, приноровиться, приспособиться, умел атаковать без авантюризма, умел без позорной поспешливости сделать ретираду.

Он пришел к эсдекам, пришел в революцию не из

романтических побуждений и без всяких идеалов, но лишь потому, что не хотел, не мог оставаться внизу, карьера священника не устраивала его, а уязвленное самолюбие бедняка вело, звало наверх, и путь, ему открывшийся, казался теперь единственным.

Он изначально не был духовен. Он был и неглубок. Однако он легко схватывал главное, умел определить «основное звено», он мог превосходно, с налету разобратся в технических, военных, политических вопросах, но никогда не стал бы — и не стал! — человеком глубоко мыслящим, творческим.

В общей сложности немногим более месяца он провёл за пределами России. Там, среди эмигрантов, составлявших цвет партии, были Георгий Валентинович Плеханов, Анатолий Васильевич Луначарский, Николай Иванович Бухарин и Лев Борисович Каменев, Григорий Евсеевич Зиновьев, Лев Давидович Троцкий, Юлий Осипович Мартов — не просто функционеры, каким оставался он, это в большинстве были теоретики, это были интеллигенты, и он, выходец из деклассированной семьи, полуобразованный, хотя и начитанный, не знающий ни одного иностранного языка, почувствовал недолгую зависть к этим людям...

Среди них были, конечно, и великороссы, и малороссы, и кавказцы, но, казалось ему, на первом плане всегда обнаруживались евреи, наделенные живым, острым умом, восприимчивостью, ораторскими талантами. Он внушал себе — сперва внушал, потом поверил, — что все они суть краснобаи, мастера эффектной революционной фразочки; выскочки, пекущиеся только о собственном авторитете, о том, чтобы всегда быть на виду. Он их возненавидел, он, для кого революция действительно составляла лишь средство к самоутверждению. Собственные помыслы он присвоил партийным коллегам из числа евреев, он возненавидел их и боялся уже тогда...

Он со злобной радостью узнал — тогда в том не заключалось никакого секрета, умалчивать стали после, — что и Ленин отчасти тоже из них: дед Владимира Ильича по материнской линии, военный врач Александр Дмитриевич Бланк был крещеным евреем, и, следовательно, в жилах Ульянова (так теперь — мысленно — он стал все чаще называть) заключалась четвертушка их крови.

Ульянова он возненавидел тоже, и не только по этой причине, а еще и потому, что тот, по сути, ничем — до

Октября — не выделял его, Сталина, из рядов таких же функционеров.

Лишь где-то в середине двадцатых годов имя Сталина прозвучало с добавлением эпитета «великий», кажется, это молвил Емельян Ярославский. Свое дело он сделал, великим называли все чаще и чаще, это стало как бы неотъемлемой частью имени. Потом перешли и к гениальному.

Он победно громил одну оппозицию за другой, ставил на колени, заставлял каяться, вышибал из партии, после покаяния принимал снова и опять вышибал, пока не навел в партии порядок, — к тридцатому году стало тихо и можно было приступить к коллективизации, затем — к индустриализации. Он быстро расправился с нэпом, перекроил планы Ульянова, страна рукоплескала, ликовала, строила, побеждала, жизнь делалась краше и счастливей с каждым днем, у Него не осталось и следа ущербности, неполноценности, он уверовал в свою гениальность, о ней твердили всюду и всегда, на каждом шагу, как на каждом шагу висели теперь его портреты...

И, достигнув значительно большего, нежели он хотел, Он впал в состояние непреходящего, непрерывного страха.

Он был одинок и несчастлив, достигнув всего, чего хотел и даже более того.

Он жил в страхе, ужасе, тихой панике — всегда, постоянно и всюду: в Кремле (въездные ворота, площадь, лестницы, приемная, кабинет, служебные апартаменты, маленькая скромная квартира); в Кунцеве (глухой забор с колючей проволокой под током, сад, комнаты, закрытая стеклянная веранда, ванная, туалет); в автомобиле (бронированные, с пуленепробиваемыми зеркальными стеклами «паккард», «кадиллак», «ЗИС», постоянно меняемые; водитель-гэбист в офицерском звании); на улицах Москвы, коими вынужден был ездить. Боялся утром, днем, вечером, ночью; боялся, когда один и когда — на людях; боялся наяву и во сне, работая и отдыхая, за книгой и лежа на террасе в блаженном, как полагалось бы, а на самом деле тревожном безделье. Боялся отравы, пистолетного выстрела, подложенной мины, автомобильной катастрофы, спровоцированного пожара, грозы, наводнения. Боялся членов Бюро и личного приближенного Поскребышева, сволочного Берию и трусоватого, безликого Ворошилова, работников секре-

тарната, собственных охранников и часовых, obsługi, включая добродушную экономку и преданного, искренне заботливого личного врача. Боялся некогда любимой дочери Светланы, особенно когда вопреки его воле вышла замуж за еврея Григория Мороза, срочно переименованного в Морозова, боялся беспутного сына Васьки. Боялся прохожих — зеркальные окна автомобилей скрывали его от взглядов снаружи, но позволяли ему видеть изнутри. Боялся порывов ветра, шелеста древесной листвы, стука в дверь, хлопанья пробки шампанского, жужжания комара. Боялся собак, в юности им любимых; боялся птиц, лягушек, ящериц, пауков. Боялся запахов лекарств, цветов, типографской краски, пряных обеденных приправ.

Он боялся внутренних и международных событий, в том числе и тех, что совершались по его указаниям или были организованы, а то и спровоцированы им; боялся и великих держав, и братских, им же созданных правительств; боялся противников и союзников, врагов и друзей; боялся информации открытой и сугубо секретной, газет собственных и зарубежных. Боялся поездов и самолетов (всего один раз летал!), после гражданской войны совершил три или четыре поездки по стране, не считая перемещений на Кавказ, где были его, подобные крепостям, дачи. Боялся восхваляемого им народа — мужчин, женщин, стариков, калек, детей. Ни разу, в том числе в Грузии, где был особенно боготворим, не заглянул ни в чье жилье и понятия не имел, чем и как живут трудовые люди; даже на похороны матери в Тбилиси не поехал. Боялся неба — ясного и затянутого тучами; боялся земли, равнин и гор, пустынной речушки и Черного моря. Боялся высоких потолков и низких, просторных комнат и комнат слишком тесных; постелей мягких и жестких; полов скрипучих и намертво пригнанных. Боялся темноты и яркого света... Словом, он боялся всего, невозможно перечислить, чего не страшился он. Ужас его был всеобъемлющ и безбрежен.

Он существовал в состоянии жути. Ему приходилось насиловать себя, чтобы говорить медленно, внушительно, веско, ходить неспешно, принимать решения без совета, формулировать кратко и уверенно. Ему приходилось курить не захлебку, а неспешно посасывать знаменитую трубку или — реже — папиросы, их он курил, когда опасался, что дрожь пальцев, набивающих табаком трубочный чубук, выдаст его волнение и боязнь.

В Кунцеве он спал каждый раз в другой комнате, всюду стояли диваны, имелось постельное белье, и никто из obsługi не знал, где он ляжет сегодня. Если же приходилось оставаться в кремлевской квартире, маленькой, аскетичной без нарочитости, — его скромность в быту была непоказной, — он, бывало, укладывался и в служебном кабинете, и в той боковушке, что предназначалась для неофициальных, дружеских бесед. Но прежде чем лечь там, в Кремле, он, томимый страхом, выходил к часовому, поставленному к дверям, вглядывался либо проходил молча, пугая солдата (не солдата, разумеется, а офицера в погонах рядового), либо, напротив, его старательно обласкивал, внутренне перед ним заискивал, спрашивал о семье, о службе, одаривал длинной папиросой «Герцеговина флор», зная, что Устав запрещает часовому курить; офицер терялся — нарушить запрет при самом товарище Сталине? отказаться от угощения? что страшнее? — и Он протягивал часовому спичку, от нее же прикуривал сам, пристально глядел в глаза, отчего офицер испытывал такой же страх, как и Он. И только после бессмысленной этой проверки, словно бы лаской обезопасил себя от часового, ложась, врубал синюю лампочку — синюю, чтоб не мешала, но спать в полной темноте он боялся тоже. И — в Кунцеве, в Кремле, на крымских ли дачах — всегда и непременно совал под высокую подушку два разнокалиберных пистолета.

Страшнее всего ему сделалось после войны. Когда Гитлер напал, ударился в панику, несколько дней отсиживался в Кунцеве, не отвечал на телефонные звонки, принимал только Поскребышева. Затем сумел взять себя в руки, выступил по радио, возглавил Комитет Обороны. Приступы той же паники случались с ним еще не раз, но, когда была выиграна битва под Курском, когда стало ясно, что победа — в Его руках, на два года успокоился, даже переменялся характером, насколько это можно было в его немалые годы, принимал советы, награждал, хвалил. Он осознавал себя первым: ни Черчилль, ни Рузвельт не могли с ним сравниться. И даже ненавистная ему интеллигенция, столь нужная во время войны, Его не раздражала; Он если не простил ее, то, во всяком случае, терпел.

Послепобедная эйфория прошла быстро, тогда вот он разом и состарился. И так страшно, как теперь, ему

не было никогда. Он понимал: слабеет и этой слабостью могут воспользоваться они, ненавистные очкарики, ничтожества, мнящие себя умами, талантами, чуть ли не гениями, тогда как воистину гениален теперь он — во всем мире только Он. Он со злобой и отчаянием думал о смерти, о своем бессилии перед нею... И о том, как после Его кончины не рабочие и крестьяне, слепая и глупая толпа, но именно высоколбые перевернут, переинчат на собственный лад все, чему Он отдал свою великую и прекрасную жизнь без остатка.

Он вспомнил прочитанное где-то: террористический эффект достигается тогда, когда уничтожается определенная часть данной социальной группы; остальные приводятся к повиновению без жалоб...

Истреблять интеллигенцию — хотя бы частично — Он все-таки не хотел, от нее был определенный прок. Следовало нанести превентивный удар по возможному проявлению свободолюбия (он помнил о декабристах постоянно), следовало порушить всякие контакты с Западом — они проклевывались по линии научной; следовало внушить писателям, что отнюдь не они являются властителями дум в пролетарском государстве.

И Он, поразмыслив как следует, — ударил.

Журналы, музыка, театр, кино... Отрыв от народа, клевета на советский народ, преклонение перед иностранщиной... Формализм, снобизм, черт-те что еще. Сессия Академии сельскохозяйственных наук — разгром генетики, торжество бездарного и властолюбивого Лысенко. Философская дискуссия — пух и перья от приближенного академика Александрова. Экономическая дискуссия по проблемам социализма в СССР — Его новейшие установки, вся политэкономия дыбом; ученые Санина и Венжер задали вопросы, письменно, конечно, и вполне благопристойно; Он ответил — тоже письменно и тоже благопристойно; вопрошавших упекли куда Макар телят не гонял...

Его заносило, его заклинивало на чем-то случайном, второстепенном, побочном. Он приказал затеять еще дискуссия — по вопросам языкознания, продиктовал ее сценарий, выступил с итоговой статьей в «Правде», после же отвечал на вопросы читателей — на сей раз обошлось без арестов. Для чего нужна была эта полемика — он и сам толком не понимал. Ощущал, правда — ради того, чтобы все видели: Он мыслит, Он деятелен,

Он гениален, Он готов компетентно высказаться по любому вопросу...

Интеллигентню дробили с лета 1946-го до осени 1952-го... Затем, после почти незаметной передышки, наступила очередь евреев...

Итак, завтра должен был начаться процесс. Берия доложил: порядок обеспечен, два дня судоговорения, сотрясения воздушей; задавленные, сломленные пешки станут произносить все, что им полагается; другие пешки — обвинять, защищать, задавать предусмотренные вопросы; третьи, сидя в обширном помещении цирка, выражать одобрение, даже аплодировать, хотя это и не дозволено по процессуальному кодексу. И, наконец, следующие пешки сдадут в набор заранее подготовленные отчеты, и в субботу страна запыхает гневом, запланированным, отретпетированным, будет единодушно осуждать подлых преступников и кричать евреям то, что и полагается кричать искони...

Заколело, потом зашло сердце, ужас стал не ровным, привычным, а пронзительным. Он, шаркая подошвами, торопясь, насколько мог, переместился к аптечке — они в каждой комнате, — накапал, запил, полегче... Надо бы лечь, но спать еще рано, до четырех все равно будет лежать с открытыми глазами, курить, роняя папиросный пепел на ковер, лежать, испытывая привычный ужас... Так вот когда-нибудь — уже скоро! — он и умрет в этом по видимости безлюдном, а на самом деле достаточно плотно населенном обслугою и охраною доме; в самом доме нет никого, все во флигеле, рядом. Умрет, и спохватятся лишь в полдень, когда по заведенному порядку он сам должен позвонить дежурному адъютанту, а Он — не позвонит...

Далеко за полночь он вызвал дежурного генерала и приказал тотчас узнать, сколько зрительских мест в цирке. Генерал поднял из постели директора цирка, напугал его до полусмерти, когда назвался, и еле добился ответа.

— Две тысячи сто восемь мест, товарищ Сталин, — доложил генерал.

В половине четвертого Берия разбудил телефонный звонок. Даже спросонком Берия отличал от прочих звук этого аппарата. Торопясь, он одной рукой взял трубку, а другой одновременно включил ночник.

— Суд — отменить, — сказал Сталин, отнюдь не извиняясь за позднее беспокойство, не поздоровавшись, не тратя слов на пояснения.

— Не понял, — осторожно сказал Берия.

— От-ме-нить, — проскандировал Сталин. — Спи. Завтра утром позвоню, все поймешь.

И выпил коньяку, чтобы уснуть: завтра предстоял тяжелый день.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Звонок разбудил Главного художника около шести, трубку аппарата возле кровати, на тумбочке сняла жена, с нею не поздоровались, не извинились, потребовали к телефону ее мужа, голос был незнакомый, властный, спросить — кто, не решилась. Муж сонно выругался, но с первой же фразы — вздохмаченный, в пижаме — принял стойку, будто солдат, выслушивающий приказ, хотя в армии не служил никогда. Есть, понял, так точно, говорил он в трубку, потом понеслись гудки. Рюмин, пояснил Художник, вызывает немедленно. Поспешно брился, одевался, одновременно глотал кофе. Прощался с женой так, как прощался в последнее время, когда отправлялся туда. Обласканный обаятельным генералом, он понимал, конечно: в любой момент судьба может обернуться совершенно иной.

В машине Художник думал: а что мог сделать он не так, чем не угодить? Вряд ли станут поднимать спозаранок, чтобы похвалить. Хорошо, если какие-то мелочи, поправки...

Ничего худого, кажется, не предвиделось: свежий, будто выспался отменно, Рюмин вел себя, как обычно: традиционно-вежливый вопрос о самочувствии, о здоровье жены. Присели к столу у окна. Рюмин сам поставил напротив основной эскиз, взгляделся — Художник знал, что эскизы уже одобрены Сталиным, — генерал на отличной бумаге красным карандашом, вглядываясь в эскиз, уверенно, почти профессионально обозначил контур храма Василия Блаженного, обозначил Лобное место, задумался, повернул было карандаш синим концом, хотел, кажется, прибавить еще что-то на своем наброске, но, видимо, передумал, сказал весело:

— Знаете, время терпит пока... У нас небольшая просьба — внести кое-какие изменения. А что, кстати,



если я предложу денек-другой провести у нас на даче, условия там приличные, подышите воздухом, а заодно и поработаете...

Разумеется, приглашение было приказом, Художник похолодел, поднялся, благодарно поклонился.

— Вот и отлично, — сказал Рюмин, — тогда не будем откладывать. Звоните супруге, скажите, чтоб не беспокоилась, доставим домой в целости-сохранности.

Надо полагать, он шутил, Художнику сделалось совсем не по себе, слишком двусмысленно: доставим... Он позвонил, небрежно-радостно известил жену, та понимала, откуда звонит, не спросила ни о чем, только — понял он — тихо заплакала.

Рюмин вызвал кого-то, эскиз споровисто и умело обложили картонками, обернули, перевязали. Попрощался генерал, как всегда, приветливо, сказал, что вечером позвонит, узнает, как устроился, а если покажется что-то не так, пускай Художник сразу даст знать его, Рюмина, порученцу — вот телефон.

Немного встревожило то, что стекла «Победы» плотно зашторены, от водителя отделяла глухая перегородка, не угадать, по какому пути едут. Перестали мелькать за шторами уличные фонари, стали реже гудки встречных машин, исчезли звонки трамваев — ясно, что выехали за город. «Победа» рвала как на пожар, шоссе летело почти без поворотов; притормозили, снова прибавили ход, теперь не столь шибкий, наконец, стали, дверцу открыли снаружи.

Оранжево-черный коридор из мачтовых сосен уходил куда-то далеко, конец его терялся в дымке. Вправо дорожка вела к деревянному коттеджу на финский образец.

Сопровождающий — молчаливый, деловитый — провёл Художника по его резиденции: камин, широченные тахты, ковры, медвежьи шкуры на полу, торшеры, бары чуть не в каждой комнате, библиотека в шкафах мореного дуба, беккеровский кабинетный рояль, странный бильярд, телевизионный приемник с экраном куда большим, нежели у «КВН», повсюду телефоны — внутренние, пояснили Художнику, не связанные напрямую с Москвой... И мастерская, видимо, специально только что оборудованная: мольберт, кульман, доски, обтянутые ватманом, акварели, гуаши, наборы цветных карандашей, паркеровские авторучки, колонковые кс-

ти: Ванная комната в блеске никеля и кафеля, в арматах всевозможной парфюмерии... Чаруса, подумал он: в Сибири так называют гибельную трясину, приманичиво покрытую изумрудным плотным ковром из всякой растительной погани, ступи — провалишься, и конец...

Смертельно усталый, он оказался наконец один, бродил по даче, листал красивые книги, поглядывал на телефоны, конечно, домой не прозвонишься... Принесли обед — отменный, с превосходными винами. Официантка улыбалась обещающе...

Которую ночь подряд, задыхаясь в собственном трубочном дыме, не спал, забываясь лишь накоротке, Публицист; не спала в соседней комнате и жена. Он без конца вспоминал одно и то же.

Письмо, принесенное двумя генералами МГБ, Публицист подписал, понимая, что отказ его бесполезен, обойдутся и без его автографа, поставят фамилию среди прочих, поди спорь, поди доказывай, сопротивляться и жаловаться бесполезно. Ему казалось, что рассудок мутится, он еще раз прочитал бумагу, взял перо...

Но генералы не поднялись. Поблагодарив, старший сказал: ему поручено передать еще одну личную просьбу товарища Сталина...

Публицист выслушал, мертвея, попросил разрешения позвонить по телефону сейчас же. Со Сталиным не соединили — а прежде, бывало, не отказывали, — ответили, что по этому вопросу надо говорить с главным редактором «Правды», тот полностью в курсе... Главный редактор подтвердил: да, такое указание имеется, надо выполнять...

Генералы опять поблагодарили, откланялись; он сказал жене о подписи, а о другом умолчал; попросил не беспокоить часа два, заперся в кабинете, отключил телефон. Трубочный дым пробивался в узкую щель у потолка.

Вышел, лохматый, пахло водкой, сказал: Сталин распорядился, чтобы я выступил общественным обвинителем в процессе, обвинителем, понимаешь? А эти — он кивнул на дверь в прихожую, как бы вслед генералам — объяснили: если откажусь, то немедленно сяду на скамью рядом с врачами, тебя же и дочку — в лагерь пожизненно... Да, да, я согласился, понимаешь, согласился... Но как после такого — жить? А — никак...

Они приедут за мной к десяти утра, за два часа до процесса... Приедут, ну и что? Что увидят они?..

Жена сидела каменная.

Утром четвертого марта всех, кто должен был получить на завтра приглашительные билеты в цирк, известили на работе: заседание решено проводить в закрытом порядке; принесли извинения...

Билеты, засургучив, нарочными возвратили в районные отделы госбезопасности.

В Доме культуры железнодорожников, примыкающем к левому крылу Казанского вокзала, художники-шрифтовики, ползая на коленях вдоль натянутого на подрамники свежего кумача, повторяя про себя каждую букву — не дай бог, оплошаешь! — выводили более чем странные лозунги одинакового содержания, но во многих экземплярах. А в репетиционном зале, наверху, оркестр военного министерства, переодетый в униформу железнодорожников, бесконечно и ненужно — исполняли тысячу раз! — репетировал Гимн Советского Союза, а также вальс «Амурские волны» и, вовсе непонятно, «Прощание славянки».

Шрифтовиков и музыкантов перевели в Дом культуры на казарменное положение, фактически посадили под арест, впрочем, необременительный: кормили отменно, не отказывали в чарке к обеду, а желающие могли добавить в закрытом буфете.

Столь же бессмысленно, как и музыканты со шрифтовиками, проводили время двое стрелочников на разъезде Крутой возле станции Слюдянка над обрывистым берегом Байкала. Едва наступало ночное окно в графике движения, оба они, проклиная судьбу и начальство, что закинуло их в этот забытый богом край, шли на полтора километра к востоку от своей будки; там, круто матерясь, два часа подряд тренировались; хотя вроде оба догадывались, но каждый боялся поделиться догадкой с напарником...

В камерах внутренней лубянской тюрьмы пятерым евреям и троим русским врачам — академикам и докторам наук, лауреатам, генералам, подонкам, сволочам, старым хрычам, гадам, говнюкам, блядюгам, жидам пархатым, агентам британской разведки и международ-

ного сионизма, убийцам, предателям, отравителям, покусителям — во время завтрака объявили, что назначенный на сегодня, пятое марта, четверг, в полдень, открытый судебный процесс над ними отменяется.

И восемь убийц, академиков, предателей, лауреатов и так далее не знали: радоваться им или горевать, свободу или тайную расправу означает это негаданное известие.

Суламифь Лифшиц взяла без спросу из маминой сумочки хозяйственные деньги, и на Спартаковской, напротив Елоховского собора, в магазине «Спортивные товары» покупала сразу четыре рюкзака. Она боялась, что продавцы удивятся такому количеству, и робко объяснила, что готовятся группой к восхождению на пик Сталина; продавщице было безразлично, она и глядеть не хотела на эту жидовку.

Товарищ Сталин занимался текущими делами в Кремле, но мысли его то и дело отвлекались на главное.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Да, Сталин был непредсказуем, и чем старше становился он, тем чаще его поступки делались алогичны. Отмена открытого процесса, по мнению Берии, служила одним из ярких тому доказательств. За этой отменой могли последовать черт знает какие действия, и умный, хитрый, осторожный Берия быстро сообразил: надо быть готовым ради себя в случае нового сталинского выверта немедленно выложить на стол козырные карты, предвосхитить события, подставить другого, и, конечно, подставить не пешку, не шестерку, а короля или туза.

Косым, скользким почерком, тщательно обкатав каждую фразу в голове, он писал...

...Видных советских врачей обвинили незаконно, их признания получены путем применения недопустимых и строжайше запрещенных в СССР приемов следствия. Презренные авантюристы типа Рюмина сфабрикованным ими следственным делом пытались разжечь в советском обществе, спаянном морально-политическим единством, идеями пролетарского интернационализма, глубоко чуждые социалистической идеологии чувства национальной вражды. В этих провокационных целях

авантюристы и подлинные враги народа типа Рюмина не останавливались перед оголтелой клеветой на советских людей. Тщательной проверкой установлено, что таким образом был оклеветан, убит и снова оклеветан честный общественный деятель, народный артист СССР Соломон Михоэлс...

Закончив это Правительственное сообщение, он подумал: а ведь с Михоэлсом незачем было комедию ломать, вполне спокойно прикончили бы здесь, без всяких инсценировок автомобильной катастрофы в Минске... Но игра есть игра, она щекотала нервы, увлекала, заставляла работать воображение.

Так же быстро сочинил он авансом информацию о том, что Рюмин и его ближайшие сообщники, авантюристы и провокаторы, расстреляны по приговору Особого присутствия Военной коллегии Верховного Суда СССР.

Подумал: чего-то не хватает... А, вот... Проект указа о лишении пособницы Рюмина провокатора Лидии Федосевны Тимашук ордена Ленина...

Кажется, все.

Он вызвал личную машинистку (ей присвоено было звание капитана госбезопасности, а ради полной надежности Берия сделал ее своей любовницей). Здесь же, в его кабинете, в уголке, где стояла машинка, документы с пулеметной скоростью без единой помарки были перепечатаны в двух экземплярах, черновики сожжены в камине, бумаги спрятаны в потайной сейф.

Теперь беспокоиться особо не приходилось: прояви Коба недовольство, выкинь он какой-нибудь фортель — ахнуть не успеет, как перед ним лягут документы, свидетельствующие о прозорливости Берии...

Никакого фортеля с заседанием суда не было, просто Он испугался своей же собственной идеи насчет цирка, народу соберется туча, возможны провокации, амфитеатр и арена цирка особенно предрасполагают. Да и вообще напрасно он с самого начала подал мысль об открытом процессе, ведь сам себе дал зарок в тридцать восьмом — со спектаклями этими надо кончать, тут всегда возможны накладки; нет нужды разводить тягомотину на процессах, когда под рукой скорострельные тройки ОСО...

Зато сейчас он устроит зрелище невиданное.

Жаль, конечно, сказал секретарь университетского парткома, что имя, отчество и фамилия у вас не слишком выразительны для такого случая, но мы найдем способ ненавязчиво и в то же время определенно подчеркнуть вашу национальную принадлежность; поймите, Сергей, это важно, и выступить вы обязаны, нельзя давать пищу для выпадов об антисемитизме... Разумеется, выступит и кто-то из русских, но митинг начнем вашей, Сергей, речью. Конечно, у нас есть и явные в отличие от вас евреи, но — школяры, мальчишки, а вы человек зрелый, авторитетный, фронтовик, орденоседец, коммунист, и мы настоятельно просим вас к вечеру представить в партком полный текст вашего выступления, кратко, минуты на три, как перед боем бывало, больше гнева, не сдерживайте себя, покажите искреннее свое негодование, я отлично помню, как вы тогда прекрасно и гневно говорили, я любовался вами...

Хорошо сделал, что поддержал его, думал секретарь, теперь за добро заплатит добром, сделает как надо, поймет правильно, бывший комсорг в армии, фронтовик...

Секретарь не был ни добряк, ни провидец, он в той истории Сергея не пожалел и не задумывался, для чего и когда мог Холмогоров пригодиться, но секретарь в обстановке разбирался и предполагал, что пригодиться — может...

Демобилизовался наконец в марте пятидесятого, блаженствовал два месяца — молодая жаркая любовь, раскованность, свобода после семи лет службы, солнечная любимая Москва, счастливое безделье, встречи с однокашниками — уцелело их немного, — холостяцкие попойки... А после засел за учебники, выбрав юридический факультет: ему представлялось, что теперь, когда фашисты разгромлены, их, фронтовиков, благородный долг драться беспощадно и яростно со всяческой своей уже мразью.

В нем причудливо сочетались вера с неверием, ранняя возмужалость много испытавшего человека с мальчишеским романтизмом, осознание партийного долга с критическим взглядом на окружающее. Там, в послевоенном отдаленном гарнизоне, судить о жизни мог

только по газетам, радио, отчасти — по длинным, но сдержанным, с намеками письмам Сони. Конечно, догадывался он о многом, но понимал далеко не все. Газетам верил, а если что-то и представлялось ему натянутым, притянутым, преувеличенным, относил за счет недомыслия, перегибов со стороны журналистов и редакций. Письмам Сони верил, конечно, тоже, однако знал ее склонность к эмоциям... Он вернулся в гражданскую жизнь, не будучи ни ортодоксом, ни, если так подходить выразиться, нигилистом. После окопных и казарменных лет жизнь предстала перед ним прекрасной, и он, понимая Сою, жалея, сочувствуя, все-таки вполне искренне убеждал: брось, это цепь случайностей и не вечны для тебя эти пластмассовые художественные пуговицы, эта шарашкина артель; все начинают с работы малой и далеко не всегда интересной, увидишь — образуется... Соня хотела верить и поверила.

Никакого конкурса для фронтовиков в вузах не существовало, достаточно было — даже с натяжкой — заработать «государственную отметку», тройку. На тройки Сережка мог бы сдать запросто — в армии окончил вечерний Университет марксизма-ленинизма, кое-что проштудировал самостоятельно по институтской программе. Но хотелось блеснуть, уселся за учебники, зубрил, как прилежный школяр. Сочинение, устные по литературе, по русскому и по немецкому заслуженно увенчались пятерками, в группе удивлялись, завидовали — большинство демобилизованных поотвыкли от учения, перезабыли программу, им делали поблажки, надеясь обрести в их лице усердных студентов, притом в большинстве — коммунистов, а через пять лет — и юристов с жизненным опытом, особенно важным, поскольку их можно было направлять в прокуратуру, куда воздерживались назначать юнцов.

Последней сдавали историю, билет Сережа вытянул простенький — вероятно, ему показался бы простым и любой другой, программу он знал по Университету марксизма — и, бегло взглянув и слегка пижоня, попросил разрешения отвечать сразу, без подготовки. В аудитории зашептались (к ответам готовились несколько человек), а экзаменатор, говорили, весьма либеральный, профессор Башуев — медлительный, грузный, увенчанный, как лаврами, благородной сединой — посмотрел то ли одобрительно, то ли недоуменно, стекла профессорских очков скрадывали выражение глаз.

На экзамены, как и прочие фронтовики, Сергей явился в гимнастерке, с орденами и медалями: Красная Звезда, Слава 3-й степени; почетнейшая, боевая, только в окопах получаемая «За отвагу»... Форму надевали не ради побрякушек, а гордясь боевым прошлым, отчасти хвастаясь перед девчонками, мальчишками со школьной скамеечки, даже преподавателями — не все из них воевали, а тех, кто воевал, объединяло с будущими студентами чувство, кратко именуемое солдатским братством.

Судя по всем трем наградным планочкам, профессор Башуев фронта миновал — Сергей испытал некое превосходство перед экзаменатором, а уверенности в себе не занимать, и, не барабанив, будто отличник, но спокойно, рассудительно, без запинок ответил на билет и уже привычно протянул зачетный листок, понимая: последняя пятерка обеспечена.

Профессор переместил очки на лоб, внимательно всмотрелся в зачетный листок, вернул окуляры на место, поглядел на Сергея, будто следователь идентифицируя личность, покосился в какую-то бумагу и вместо того, чтобы вывести законную пятерку, задал дополнительный вопрос...

Вопрос был — каковы основные формы феодальной земельной ренты... Ничего сложного в нем не заключалось, если бы Сергей сдавал политэкономия, но тут, на истории, вопрос был неожиданным, Сергей был застигнут врасплох, психологически не подготовлен, замялся, ответил без прежней уверенной четкости и, кажется, перечислил не в той последовательности, что у Маркса. Дальше посыпались подряд, вразброс, скороговоркой: что такое сфрагистика; в каком году родился и когда умер историк Соловьев; чем отличается гемма от камня; являются ли волжские болгары этническими предшественниками казанских татар; кто из композиторов входил в состав «Могучей кучки»... На большинство этих вопросов в спокойной обстановке Сережка ответил бы, но Башуев не оставлял и минуты на раздумье, выпалит очередной вопрос и тут же медленно фиксирует: не знаете... Сережка вспылил и сказал громко: «Хорошо, профессор, допустим, этого я не знаю. Прошу выставить отметку». И подумал: черт с ним, пускай четверка, пускай тройка, не все ли едино.

Башуев кивнул, вывел в листке оценку, и, не глянув на бумажку, Сергей вышел. В коридоре кинулись — подслушивали, как водится, — стали обнимать: ну, мо-



лодец, Серега, ну, ты и давал! Зачетный листок он держал, развернув, и вдруг — тишина.

Двойка, сказал девчоночий голос.

Ахали, охали, советовали немедленно мчаться к декану, уже кто-то выделял делегацию, а один из фронтовиков уговаривал съездить Башуеву по морде... Ладно, сказал Сергей, отставить, сам разберусь.

Он посидел в скверике на Моховой, перед памятником Герцену и Огареву, покурил, покумекал, отправился в деканат. В приемной сидела секретарша — в гимнастерочке, тщательно отутюженной, с «Отечественной» II степени, позвякивали медали, в том числе и «За освобождение Праги», как и у него. Сразу нашли общий язык — выяснилось, что воевали в одном корпусе, она — радисткой, перешли на «ты», рассказал, что случилось. «Постояй-постояй, — сказала Тоня, вглядываясь в лицо. — Ты по национальности — кто?» — «Мул, — отшутился он, — помесь лошади с ишаком». — «Я серьезно». — «Полурусский, полуеврей, советский мулат, так сказать». — «А в паспорте?» — «Еврей». — «Ну и дурак», — сказала она, открыла папку, взяла верхнюю бумагу, протянула Сережке. То была зачетная ведомость их группы, уже утвержденная деканом.

Сверху гриф: «Не подлежит оглашению». Кроме обычных колонок — фамилия, год рождения, партийность, отметка — оказались и другие: социальное происхождение, национальность, участие в Великой Отечественной войне... Фамилий числилось тридцать шесть, и в графе «национальность» у четверых было подчеркнуто — еврей. И у каждого из четырех — по несколько троек, значит, не проходили по конкурсу. У него, единственного фронтовика-еврея, — красовалась пара, ибо тройки, чтобы завалить его, было недостаточно.

Не поблагодарив Тоню, не попрощавшись, он выскочил, заметался опустелыми коридорами, перебежал с этажа на этаж, мелькали двери, колонны, стенные газеты, доски приказов, стеклянные, с золотыми буквами таблички; коридоры, коридоры, то прямые, то изломанные, тускло освещенные редкими — рабочий день кончился — лампочками. Руки тосковали по автомату, надежному, с дисковым магазином на семьдесят патронов, родному «ППШ», прижать бы его, как делали фрицы, к животу, пустить непрерывную очередь наугад — по мраморным колоннам, окошкам, стеклянным табличкам, вдоль пустых, длинных, то прямых, то изломанных ко-

ридоров — Сережка матерился молча, бессмысленно, грязно, как матерился только в атаках... Перепуганная какая-то девчонка от него шархнула.

Перед комнатой парткома, обнаруженной случайно, остановился, покурил, подумал, постучался.

Секретарь — лет тридцати пяти, с двумя рядами орденских планок на гражданском пиджаке — свой! И, веря в справедливость Партии, любого ее представителя, веря в солдатское братство и взаимопонимание, Сергей четко представился, вынул партбилет с особым почетным стажем — принимали на Курской дуге, — секретарь посмотрел, сказал по-фронтовому, на «ты»: «Сядь. Чего такой дерганый, солдат?» И Сережка выложил все, что было, утаив лишь, что ведомость показала Тоня, соврал, будто увидел на экзаменаторском столе, случайно Башуевым не прикрытую.

Секретарь побарабанил пальцами, хмыкнул, предложил закурить, и, обескураженный его молчанием, Сергей подумал, что говорил недостаточно убедительно, свел к личной обиде, тогда как следовало сказать о несправедливости, о вредности, о противоречии со Сталинской Конституцией, он это и выложил теперь секретарю, тот сказал: «Боевой ты парень. И эрудированный. Давай только митингов тут не устраивать и обобщениям не предаваться. Насчет тебя сделаю, что могу. Нам такие ребята нужны. Общее решение — не в моей власти. И не декана. И не ректора... Телефон имеешь? Записываю... Позвоню. Умеешь ждать? Вот и жди. Носа не вешай, солдат».

Он позвонил через три недели, тридцать первого августа, накануне учебного года. Экзаменовали вымотанного Сережку трое: декан исторического факультета, секретарь парткома (по специальности, выяснилось, философ) и незнакомый доцент-историк. Сергея попросили удалиться, позвали минут через десять, декан сказал: «Вы сегодня отвечали на твердую пятерку, но, учитывая результат предыдущего экзамена... В общем, вы зачислены».

...А сегодня, два с половиною года спустя, тот же секретарь обращался к студенту третьего курса Холмогорову на «вы», говорил официально, напористо, загодя отвергая любые возражения, и Сергей, старший сержант запаса, зная теперь, что секретарь имел звание

майора — воинская же субординация долго не выветривается после демобилизации, — понимая, чем грозит ему, студенту-коммунисту, да еще вдобавок полуеврею Холмогорову, и сам отказ, и тон, каким этот свой отказ он произнесет, сказал: «Давай бумагу. Я тебе напишу... Не речь, а объяснение — как я тебя послал...» И спокойно, внятно пояснил, куда послал.

Секретарь не заорал, не бухнул кулаком по столу. Он пожевал папироску, поднялся, положил руку ему на плечо. «Иди, Сережа. Ты у меня — не был, я тебя — не видел, разговора никакого не происходило».

Он рассказывал Соне уже поздно вечером, на скамейке Бауманского скверика, возле дома; Соня плакала — от всего, что происходило вот уже четыре года, начиная с января сорок девятого, и от собственного поступка с рюкзаками — их редко покупали, продавщица могла запомнить, — и от страха за Сережку — мало ли чего сказал секретарь, кроме него ведь есть и другие, с кем могли кандидатуру Холмогорова согласовать, и от ужаса за папу, за маму, за брата Гену и жену его, Белку, и от жалости к нерожденному своему ребенку... Она плакала и гордилась мужем, Сергеем, настоящим мужчиной, и целовала его, и спрашивала, будто бы он мог ответить, спрашивала, что же будет, Сережа, что будет со всеми нами.

«Как ты додумалась, почему пришло в голову насчет рюкзаков?» — запоздало удивился он. «Не знаю, не знаю, — отвечала Соня, — словно прозрение какое...»

Да, походило на прозрение, вспышку, наитие, думал Сергей, лежа рядом с уснувшей наконец Соней, он держал руку на твердой, желанной груди, и, когда отнимал руку, чтобы закурить, Соня бормотала: «Куда ты? Обними меня», — и он послушно клал осторожную ладонь обратно, а курить ему хотелось невтерпеж...

Слухи ползли, клубились, змеились по Москве, где жили, по Сережкиным сведениям, около двухсот тысяч евреев, да, прикидывал он, примерно столько же частных: полукровок, вроде него; иноплеменных супругов; кроме того, причастными были, разумеется, и отнюдь не принадлежащие к племени Иудейскому просто порядочные, искренне сочувствующие интеллигенты, кого больно затрагивало происходящее... Значит, будем считать, минимум полмиллиона, десятая часть населения

столицы... И они собирались «не более двоих», как гласила печально-ироническая заповедь, встречались по возможности не в квартирах, где могли подслушать, а на бульварах, в лесу на лыжных прогулках — шушукались, обговаривали, предполагали, пугались, ерепенились, дома писали бессмысленные, опасные письма и рвали в клочья, они преувеличивали, преуменьшали, успокаивали и пугали себя, теряли веру окончательно и робко ее обретали, а то лишь старались делать вид, будто веру обрели... Слухи клубились, множились, дробились, обрастали подробностями, похожими на реальность и заведомо фантастическими.

Записанный в паспорте, по собственной воле, в память мамы, евреем (не придавал тому никакого значения), Сергей Холмогоров ощущал себя русским и про соплеменников покойной матери говорил — они. Но теперь он говорил — и думал — мы, и поскольку это значило «мы с Соней», и от протеста, и от солидарности и готовности разделить их, свою судьбу, многовековую судьбу гонимых, униженных, распятых, врожденно покорных неумолимой судьбе и столь же врожденно гордых своей судьбой, своей историей, своим народом... «Живем для шуток и насмешек гоев», — вспомнил он...

Соня спала рядом, живая, теплая, Сергей вдруг представил ее мертвой, холодной, отрешенной, навек умолкнувшей, обнял ее, живую, теплую, желанную, красивую, единственную, она пробормотала что-то невнятно ласковое и, не просыпаясь, потянулась к нему...

Проснулась она часа в три, без всякой причины — Сережка ровно дышал рядом, тревога была напрасной.

Из-под двери в родительскую спальню, она же и папин кабинет, проникал слабый, полоскою лучик. Вот уж сколько времени отец не ложится раньше трех. Соня знала: он сидит за большим старинным письменным столом, лампа прикрыта газетой, сидит, подперши лысую голову ладонями, порой читает, порой пишет что-то, иногда на цыпочках проходит через их с Сережкой комнату, где кровать отгорожена ширмой, после же в уборной пахнет горелой бумагой, в унитазе, случается, остаются лепестки пепла, прилепленные водой... Соня вслушалась — ей показалось, что из родительской комнаты доносятся детские, незащитные всхлипы... И, не смея постучаться, прижаться щекой к папиной щеке, она лежала долго и не могла уснуть.

А Ефим Лазаревич, отец, не плакал, ей показалось. Он через наушники слушал дешевый приемник, подаренный на заводе по случаю пятидесятилетия, слушал передачу из Англии, он слушал только по ночам и только через наушники, чтоб соседи не усекли заграничную речь, чтобы не стали выпрашивать жена, дочка, зять, рассказывать бы им не стал ни за что...

Он боялся, как боялся всю жизнь...

Он боялся того, что учился не в России, где шансы преодолеть процентную норму были ничтожны, учился на медные гроши, собранные местечковым кагалом, в Бейрутском университете, — там и овладел английским, скрывая и этот безвинный факт в анкетах... Он боялся, вдруг узнают, что двое братьев его еще задолго до революции в поисках счастья уехали за океан, и он, Ефим Лифшиц, о том, конечно, помалкивал. Он малой своей должности — боялся: как ни говори, а на виду, куда безопасней было оставаться совсем в тени... Боялся, что негаданно оказался свояком врача Кремлевской больницы: Холмогоров-то русский, ему ничего не грозит, а вот Лифшицу в любой момент могут приписать, будто специально втерся в правительственное, пускай далеко не самое непосредственное окружение... Боялся за жену, детей, теперь еще за Сережу, зятя...

Ефим Лазаревич жил в постоянном страхе, как, впрочем, жила в страхе вся великая страна, однако евреи в особенности; он слушал приглушенное, неразборчивое радио и через шум помех, через расстояния, вопреки несовершенству дешевенького приемника он — услышал!

Выйдя в прихожую, пошарил — стыдно и неприлично, а что поделаешь — в карманах пальто зятя. Две сложенные папироски он так там обнаружил...

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Седьмого марта 1953 года часть тиражей центральных и столичных газет, предназначенных для розничной продажи и расклейки на витринах в Москве, вышла со специальными вкладышами, где текст был напечатан на одной стороне листа. Эти листы наклеили на афишные тумбы, щиты, заборы. Городская трансляционная радиосеть с шести утра каждый час передавала опубликованные там документы, читал знаменитый с войны Диктор.

## Правительственное сообщение

5-6 марта Особое присутствие Военной коллегии Верховного суда СССР в закрытом судебном заседании рассмотрело дело по обвинению преступной шайки врачей-вредителей, раскрытой, как сообщалось ранее, органами государственной безопасности.

В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства неопровержимо установлено, что указанная террористическая группа по заданию английской разведки, а также международной сионистской организации «Джойнт» ставила своей целью путем вредительского лечения оборвать жизнь крупных партийных, государственных и военных деятелей нашей страны. Жертвами этих подлых выродков пали товарищи А. А. Жданов и А. С. Щербаков. Подлые предатели готовили покушение на великого вождя и учителя трудящихся всех стран товарища Иосифа Виссарионовича Сталина.

Обвиняемые полностью признали свою виновность в совершенных и подготавливаемых преступлениях.

В соответствии с законодательством, а также учитывая требования многомиллионных масс трудящихся страны, Особое присутствие приговорило врачей-вредителей, шпионов, изменников Родины, врагов народа к высшей мере наказания — смертной казни.

Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

О приведении приговора в исполнение будет объявлено.

### От Московского комитета КПСС и Моссовета

В день Международного праздника 8 марта 1953 года на Красной площади в Москве состоится демонстрация трудящихся столицы.

Начало демонстрации в 12 часов.

Участники демонстрации собираются на своих предприятиях, в учреждениях, учебных заведениях и следуют на Красную площадь районными колоннами по установленным маршрутам.

Доступ на Красную площадь лиц, имеющих приглашенные билеты, прекращается в 11 часов 30 минут.

Движение всех видов транспорта, за исключением автомашин со специальными пропусками, в районе цент-

ральных площадей и улиц будет прекращено в 9 часов утра и возобновлено после окончания демонстрации.

Станции метрополитена имени Л. М. Кагановича «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Площадь Дзержинского», «Кировская», «Дворец Советов» будут закрыты для входа и выхода пассажиров с 8 часов утра до окончания демонстрации.

### **Обращение к евреям — гражданам Советского Союза**

Дорогие братья и сестры, еврейские мужчины и женщины, еврейская молодежь! К вам обращаемся мы, друзья наши, соплеменники!

Мы, работники промышленности и сельского хозяйства, военачальники, деятели науки и техники, литературы и искусства, — в трудные эти дни держим слово к вам, всем евреям — гражданам Советской Страны.

Многие из вас родились после Великой Октябрьской социалистической революции, вы не знали национального неравенства, национального угнетения. Но мы, в большинстве люди старшего поколения, помним позорную черту оседлости, зверские погромы, знаем о невозможности получения евреями при царизме обычных человеческих прав.

Только революция, руководимая В. И. Лениным и его верным учеником и ближайшим соратником И. В. Сталиным, принесла народам нашей Родины, в том числе и нам, евреям, полное равноправие, дала возможность в братской семье советских народов плодотворно трудиться на благо Социалистического Отечества.

Еврейский народ, сбросив иго бесправия, обрел все условия для того, чтобы осуществить свои извечные устремления к знаниям, к творческой деятельности. Всем известны имена видных еврейских ученых, писателей, артистов, художников, удостоенных высших степеней отличия, в том числе премий, носящих имя великого Сталина. Еврейские рабочие и колхозники строят коммунистическое общество рука об руку с представителями всех национальностей нашей могучей Родины, под руководством товарища И. В. Сталина идут по пути, начертанному В. И. Лениным.

Мы никогда не забудем беспримерного подвига русского народа, самого выдающегося из всех народов нашей страны, который спас человечество от угрозы фа-

шистского порабощения. Для нас, евреев, этот подвиг имеет особое значение, ибо именно русские люди, наши братья, спасли евреев от полного физического истребления гитлеровскими захватчиками. Мы вправе гордиться тем, что рядом с русскими воинами честно сражались в битвах Отечественной войны еврейские солдаты, офицеры, генералы, многие из них удостоены звания Героя Советского Союза.

Но можем ли мы утверждать, что евреи всегда и все оказывались на той высоте, какой требует и ждет от нас Советская Родина-Мать?

С великой горечью и стыдом ныне мы вынуждены признать: нет, к несчастью, не всегда.

Поросли бурьяном презренные могилы подлого фашистского отребья, шпионов и вредителей, злых врагов советского народа Троцкого-Бронштейна, Зиновьева-Радомысльского, Каменева-Розенфельда, прочих омерзительных тварей, которых рука советского правосудия покарала много лет назад.

Но вот снова среди нас обнаружены отступники, предатели, изменники, лишенные чести и совести.

Органы государственной безопасности во главе с верным соратником товарища И. В. Сталина — Лаврентием Павловичем Берия раскрыли недавно подлую банду шпионов, изменников, убийц в белых халатах.

На их руках — кровь товарищей А. А. Жданова и А. С. Щербакова. Их предательские замыслы шли далеко: уничтожить товарища И. В. Сталина, уничтожить наших вождей, уничтожить крупнейших военных деятелей нашей страны. Они ставили целью ослабить оборонную мощь Советского Союза, спровоцировать новую войну, отдать Родину на растерзание империалистам; они продались за американские доллары международной сионистской организации «Джойнт», этому новому рассаднику фашизма.

Зловещая тень подлых убийц и шпионов легла на весь еврейский народ, вызывая справедливый гнев и возмущение каждого советского человека. Да, невозможно отрицать: все мы косвенно опозорили себя, и кинувший в нас камень — да будет прав!

Мы обязаны смыть этот позор, возродить доброе имя советского еврея в глазах великого русского народа и всех народов нашей страны и прогрессивного человечества.



Мы обращаемся к вам, братья и сестры, соотечественники и соотечественницы, соплеменники: только самоотверженный труд там, куда пошлют нас партия, правительство, родной и любимый товарищ И. В. Сталин, позволит нам вновь ощутить себя не презренным отребьем, но полноценными честными гражданами Великой Родины.

Мы призываем вас, еврейские мужчины и женщины, коммунисты и беспартийные, комсомольцы и несоюзная молодежь, герои войны и труда: добровольно покинуть обжитые, привычные города и районы, отправиться на освоение просторов Восточной Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера. Пусть не пугают вас трудности. Многотысячелетняя история нашего народа показала стойкость и жизнеспособность евреев. И лишь честным, самоотверженным трудом каждый советский еврей может доказать свою преданность Родине, великому и любимому товарищу И. В. Сталину — лучшему другу еврейского народа.

Мы верим: зловещая тень приговоренных к смертной казни шпионов и убийц скоро перестанет витать над нами, никто не бросит нам в лицо заслуженного попрека.

Мы знаем: Родина и Великий Сталин простят нас!

...Соня протянула приготовленные, зажатые в кулак монетки, попросила передать кондуктору и услышала в ответ: «Чтоб ты сдохла, гадина!» К трамвайным, троллейбусным, автобусным склокам Соня привыкла, но склоки имели обычно повод, пускай ерундовый — кто-то кому-то на ногу наступил или задел рукавом, а тут вины никакой; промолчала и попыталась протиснуться поближе к кондуктору, ей сказали внятно: «И здесь вперед всех лезешь, жидовская харя!» По всем законам и правилам полагалось дать по морде, однако Соня хорошо помнила...

...Она стояла на площадке электрички, трое подвыпивших или не подвыпивших парней вязались к четвертому, он стоял в тамбуре у двери, покуривал в кулак, почему куришь, сука, не знаешь, что запрещено, гад... Они сами дымили папиросками, пускали дым в лицо юноше, что прятал папироску в кулак, а-а, молчишь, молчишь, жидовская морда, не уважаешь... И плечами раздвинули створчатые двери вагона, осенний ветер

втокнул в тамбур желтые листья, а юноша полетел вниз, на рельсы, под откос насыпи...

...И здесь лезешь, жидовская харя, сказали ей, Соня молчала, и пожилой дядька, совсем простецкое лицо, шепнул ей в ухо: лучше выйди на следующей остановке, дочка... И, прежде чем протолкаться к выходу, она увидела то, на что сперва не обращала внимания: и те, кто сидел, и те, кто стоял, притиснутый друг к другу, читали, читали одинаково развернутые листы афиши с белым, пустым оборотом, и Соня услышала непотаенные слова — гады, хриstopродавцы, пархатые, перевешать бы всех, гадов, житья не дают, жидаы, сволочи, ишь, каются, распинаются, истребить до единого, проклятое семья...

Сонечка, Суламифь, думал Ефим Лазаревич Лифшиц, прочитав и перечитав газетный односторонний вкладыш, прости, я не умел быть с тобою ласковым и внимательным, я молчал, но ведь я молчал не потому, что не люблю тебя и Генриха, и Белку, я молчал, чтобы не испортить вам жизнь окончательно, вы еще дети, по крайней мере, для меня, и вам не следовало знать всю правду, ту правду, которую я понимал еще со времени революции, я человек старый, мне скоро умирать все равно, а вам жить — и дай вам бог жить долго...

Главный художник, разнежившись в роскоши, обьевишись деликатесами, поспав чуть ли не на царской, в его представлении, постели, окончательно уверовал, что ему не грозят никакие опасности... Предстоит, видимо, работа, либо слишком срочная, либо сугубо секретная, потому и поселили здесь...

И в самом деле, вечером шестого марта ему вручили выполненный цветными карандашами набросок, сказали, что нарисовано лично товарищем Рюминым, подлежит детальной проработке на эскизе тушью и акварелью, и более ничего. Сделать надо завтра, к обеду, в трех экземплярах...

Было утро седьмого марта. Художник читал газету. Эскизы были почти готовы, недоставало деталей...

Митинг профессоров, преподавателей и студентов юридического факультета Московского университета проходил — по графику — в Коммунистической аудитории; текст Обращения выслушали стоя, а затем высту-

пал старшекурсник, фронтовик Боря Зеликсон, он говорил красиво, с благородным гневом...

Соня торопливо прошла несколько остановок — кажется, на работу не опоздает, — неподалеку от проходной еще открыт был киоск «Союзпечати», газеты, конечно, расхватали, останавливаться же у витрины Соня боялась... Киоск закрывался, но продавщица с вековечно печальными глазами сказала Соне: «Душенька, андише мэйдл, — еврейская девочка, перевела для себя Соня, — возьми, душенька, этот поганый листок, и пускай будут прокляты их дети, а ты сохрани своих, будь они здоровы, детей».

На проходной ее пропуск долго изучали, сравнивали фотокарточку с «личностью». В цехе Соня обошла, как полагалось, вверенную ее попечению линию — на Соню смотрели по-всякому — и, сделав обход, спряталась за коробками с готовыми изделиями, здесь ее нашла сменный мастер Ниноля Иванова, целовала, приговаривала: Сонька, не вздумай скулить, распускать слюни... А после позвал начальник цеха, отбывший после гитлеровского плена еще несколько лет в советских проверочных лагерях, великий трус, попросил тоже: не волнуйтесь так, Суламифь Ефимовна, будем надеяться, будем надеяться...

Главный режиссер, как и его коллега, Художник, получил соответствующие указания и, понимая бесполезность сопротивления и жаждая как можно скорее отделаться, попросил только два часа, чтобы внести в сценарий предписанные изменения.

Детскому писателю по телефону посоветовали в течение ближайших суток не отлучаться из дому: он может понадобиться товарищу Рюмину в любой момент.

Такую же просьбу передали Спортивному комментатору.

А Публицисту никто оттуда не звонил, поскольку процесс обошелся без него, общественного обвинителя. Но его имя оставалось на Обращении, сотни тысяч людей, миллионы читали, видели его всем известное по годам войны имя, и это приводило Публициста в отчаяние; он просил убрать подпись — отказались.

В производственных мастерских Московского отделения Художественного фонда срочно завершали послед-

ные детали оформления Красной площади для демонстрации в день 8 Марта.

Столярный цех киностудии «Мосфильм» чуть не в полном составе занимался унижительным для мастеров высокой квалификации делом: ошкуривал бревна, проходил по ним деревенскими настругами, а художники-декораторы с помощью паяльных ламп выжигали на свежо пахнущих столбах произвольные узоры, покрывали бесцветным лаком.

Автомобильный батальон заканчивал тренировки, они в последние дни слегка изменились: не к прямой, а к выгнутой стенке пришвартовывались открытыми задними бортами автомобили «ЗИС» — шестнадцать машин, разделенные на две равные группы.

Холмогоров — у него был отгул после ночного дежурства — вынул из ящика газеты, удивился чистым страницам, развернул, прочитал раз, другой, быстро оделся и рысцой отправился к «Союзпечати». Киоскерша его знала, и, конечно, у нее сыскался в заנачке экземпляр.

Из письменного стола — ящик на запоре — вынул свою «Летопись безумного государства», заполнял уже третий альбом. Перечитал собственные стихи, поставленные эпиграфом, поэзии тут нет, конечно, однако...

В этом безумном мире  
Дважды два — не четыре,  
И у подвижных планет  
Орбит, оказалось, — нет.

Лошадь, привычна к овсу,  
Аппетитно жует колбасу,  
Волга впадает не в Каспий,  
Солнцем зовут — ненастье.

В мире безумном этом  
Тьма именуется светом,  
Правдой числится — ложь,  
Лишь масло здесь режет нож.

Каждый — и весь народ —  
Задницей ходит вперед.  
В радуге — пять цветов,  
Кошки пугают псов.

В мире этом безумном  
Глупца объявляют умным,  
Лапоть зовут сапогом,  
Друга народа врагом...

Обращение к евреям, вырезанное из газеты, в альбом не помещалось, он раскроил на колонки, аккуратно подогнал, выровнял куски, приклеил Правительственное сообщение о приговоре. На сообщение о демонстрации в честь Женского дня внимания не обратил, не придал значения.

После он еще и еще перечитывал наклеенные документы... Среди троих русских мог оказаться и он... Может быть, спасло то, что вождей лечить не приходилось. Или — слепой случай... Господи, какой ужас. И какой позор для нас, российской интеллигенции. Никто не поднял голоса протеста, все молчат, все. А ведь именно ей искони было присуще бескорыстное стремление стать на защиту слабых, угнетенных, несправедливо преследуемых, именно она шла в тюрьмы, в каторгу, на плаху, заведомо зная, что практической пользы от этого не будет никому... А мы сейчас молчим, и даже кое-кто одобряет... Стыдно...

В камеры подземной Лубянки вместе с завтраком принесли газетные оттиски. После того, как их принесли, надзиратели остались у дверей камер, глазки не закрывались. Узнав из газет о суде, которого не было, о вынесенном приговоре, пятеро евреев и трое русских — врачи-вредители, шпионы, убийцы, гады — на виду равнодушных стражей сперва как один окаменели; после они писали письма, плакали, отворачиваясь к стенке, бились головой, метались по узким помещениям, засыпали патологическим сном, взывали о пощаде и, зная, что им терять нечего, проклинали вслух неведомо кого. Тренированная и тщательно проинструктированная охрана безмолвствовала, в ее задачу входило единственное: наблюдать, чтобы гады не покончили самоубийством.

Дело Бейлиса, дело Бейлиса, бормотала местечковая, не шибко-то образованная Циля Вулфовна Лифшиц, спешно укладывая в купленные Соней рюкзаки жалкие, но такие дорогие вещи: тоненькое золотое колечко, нитку фамильного мелкого, дешевого жемчуга, царский червонец, полученный дедом за солдатскую службу; укладывая простыни в тщательных заплатах, наволочки, платьешки, ночные рубахи, носки, ложки-вилки, миски, кружки... Дело Бейлиса, дело Бейлиса, бормотала она и порывалась позвонить сестре и сыну и боялась звонить...

«Как повелось в последние дни, Сережка встречал Соню у метро «Электrozаводская», неподалеку от заводской проходной. Они кидались друг к другу и радовались. Соня смеялась, рассказывала о своих делах, он — о своем. Так было и сегодня — ни словом не обмолвились о том, что в газетах. Они все понимали, ужас навис над ними, и невозможно было говорить об этом, нужны были взгляд, прикосновение, объятие на виду у всех... Они шли по длинному низкому Рубцовскому мосту через Язу, шли, обнявшись, останавливались, целовались...

Художник настаивал: исправленные эскизы он представит товарищу Рюмину лично. Генералу с дачи позвонили, он согласился.

Встретил едва ли не приветливой обычного, сперва коньяк, кофе, комплименты, вопросы о семье, о том, удобно ли на даче. И, наконец: ну-с, посмотрим, как там у вас получилось...

Туго натянутые на доски листы ватмана. На каждом полотнище, что свисали с карнизов бывших торговых рядов напротив Мавзолея, на этих красивых, красных, революционных полотнищах посередине броско выписаны белые круги с черной свастикой в центре. И на рукаве мундира Генералиссимуса на портрете изображена была повязка с той же свастикой.

«Ну, что ж», — спокойно сказал Рюмин.

Он позвонил, вошли двое — знакомые, из тех, что почтительно сопровождали по светлому рюминскому коридору.

Убрав, кратко велел Рюмин, поведя головой в сторону Художника.

Те поняли без пояснений.

Он сидел за столом и возводил поклеп на себя, профессор, доктор наук, полковник медицинской службы, фронтовик, орденосец, член партии с 1920 года, ведущий специалист Кремлевского лечсанупра Холмогоров Николай Петрович, русский, не привлекавшийся, не состоявший... и так далее...

«Внимательно ознакомившись с Обращением к советским евреям, считаю долгом поставить в известность, что на самом деле являюсь, — он остановился, призадумался, вспомнил, как жена шутила в молодости, переводила его имя, отчество и фамилию на еврейский, написал, — Бергманом Колманом Пинкусовичем, а документы,

послужившие затем основанием для выдачи удостоверения личности, похитил у красноармейца, убитого в бою под Псковом и Нарвой, где родилась могучая Красная Армия во главе с великим полководцем товарищем Сталиным. По ложным документам и под чужой фамилией я вступил в ряды большевистской партии, под этим чужим именем русского человека я, еврей, Колман Бергман, прожил всю сознательную жизнь. Пламенный призыв соплеменников-евреев пробудил совесть...»

Сталин ходил по комнатам кунцевской дачи. А там, в Кремле, в его служебных апартаментах, опробовали в последний раз новейшую аппаратуру опытного производства...

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

«...красит нежным светом стены древнего Кремля, просыпается с рассветом вся советская земля. Кипучая, могучая, никем не победимая, страна моя, Москва моя, ты самая любимая...»

...не выключали на ночь, оставили на полную громкость, не ложились, в шесть били, как обычно, куранты, а после...

...нет! не-ет! не-е-т! ой боже, этого не может быть, нет! н-е-т! боже мой, они сопли с ума, Фима, скажи мне, они сошли с ума, почему ты молчишь, Фимочка, что будет с нами, доченька, Сереженька, мальчик мой, а где же мой Геночка, почему нет Геночки, они его тоже убьют, а Белочка, наша Белочка, и она тоже, я не хочу, я не хочу, боже мой, боже... Сонечка, иди ко мне, дочечка, я не хочу, н-е-е-е...

...повторяем... Правительственного сообщения... сегодня... марта, в двенадцать часов по московскому времени...

...ночевал в кремлевской квартире, лег, как всегда, в три ночи, приказал разбудить раньше обычного, в десять, а Берии передать, чтобы вообще не ложился, проверил лично все объекты, в половине одиннадцатого чтобы позвонил с докладом.

Он спал ровно, спокойно, никакие видения не тревожили.

...на правой трибуне, третий ряд... просьба иметь документ, удостоверяющий личность... Я пошел, Циленька, я пошел, доченька, Сонечка моя, нет, не Сонечка, ты — Сула мифь, ясно?..

...я пошел, малышка, ты уж держись, ладно? Я обязан вовремя явиться к университету и дойти до Красной площади, а оттуда я непременно смоюсь, я удеру, я приеду, а ты слушай, ты слушай радио, ты записывай, пожалуйста... Я непременно удеру, а ты все слушай, все запоминай, ты сильная у меня, ты держись, дай я тебя поцелую...

---

...нет, я поеду, я непременно поеду; раз уж не было процесса и я не стал обвинителем, я поеду, я обязан видеть, я запишу для потомков, быть может, мне повяжут они...

...без вещей, на выход, поторапливайся!

...быстренько, быстренько, быстренько, говорю! Да хватит, объяснила вам: буду на центральной трибуне; а вы на левой, ну что поделаешь, ведь я — это я, а вас пригласили... Быстро, Тимашуки-младшие, марш-марш, внизу машина ждет... Да какое там такси, я же сказала вам...

...ну Цилечка, достукались, пархатые? Пожили в двух комнатах, а мы в одной бедуем, ну вот, попрут вас отсель, на север этот, мы уж всю квартирку зайдем, ишь, две комнаты у них, да еще и компот каждый день варите, жида богатые...

...не бейте, только не бейте, прошу вас, не бейте, я так не могу, нельзя бить человека... Да какой ты человек, сволочь жидовская... Гражданин начальник, гражданин сержант, я никакой не еврей, я русский, я не виноват, что меня втянула эта банда, я русский врач, и фамилия у меня русская, я случайно попал в шайку к ним... Не надо бить, не надо...

...где Сергей? А, тоже будет там... Соня, вы что, меня узнавать не желаете? Сонечка, дочка, это же я, Николай Петрович... Да, Соня, пойду... Пропуск у меня отобрать не догадались... Как, ты ничего не знаешь? Ну



вечером встретимся, прости, я думал, Сережа тебе рассказал... Целую тебя, милая...

...«Страну, родную, милую, не взять жиденкам силою, да будет им могилою советская земля»... Громче, громче, товарищи, подхватывай, колонна, не растягиваться!.. «Не взять жиденкам силою!»...

...руки за спину, дистанция, прекратить разговорчики!

...один, два, три, четыре, пять... пять, четыре, три, два, один... Нормально работают микрофоны, товарищ генерал...

...неужели прямо здесь, на Красной площади, быть не может, не бывало такого, нет, бывало, при Петре Великом, но тогда рубили головы топорами, сам государь тоже рубил, пьяный от крови... Но ведь не станут же рубить головы, так что ж это...

...жиды пархатые, из-за вас погибаю, я русский, я русский, я врач, а не врач-убийца, как вы, не хочу, не хочу, не хочу... Ну ты, как там тебя, заткнись, проданся им, а теперь орешь, опять, что ли, в морду тебе дать, сказано, прекратить разговорчики, а ты вопишь, жидовский прихлебатель, насрал в штаны, так и помалкивай...

...здравствуйте, Николай Петрович... Как? Как вы сказали? Колман... Пинкусович?! Господь с вами, для чего вам это было нужно, вы подумали о наших детях?.. Подумал, Ефим Лазаревич, подумал... Но на старости лет нам надо и о душе подумать...

...репортаж... Наши микрофоны установлены на Красной площади столицы... В нарядном убранстве...

...Сережка, Сережка, ну где ты застрял, ты же обещал, неужели ты не сумел удрать оттуда, Сереженька, мне плохо, я не могу без тебя...

...технический прогресс. Отличная видимость. Хорошо, Лаврентий. Ты иди туда. Значит, вы на трибуне, первым поднимается Маленков, а говорить должен Лазарь. И никаких фокусов, ты меня понял? Только Каганович должен говорить...

...понимаешь, старшина, у меня жена больная, вчера с работы на «скорой» отвезли, ты, старшина, вижу, фронтовик, ну, пропусти меня, я ведь не сюда прошусь, а отсюда, ладно, спасибо, друг...

...«Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей жид а м не отдадим!..» Ура-ра-ра!

...во-во, значит, шифоньерчик переставим к правой стенке, а кровати в той комнате, да еще пианина ваша, не повезете же с собой, пархатые... Отойди, жидовка, не воняй чесноком...

...Сережка, зачем, зачем ты это сделал, ты вполне мог числиться русским, зачем ты сделал это, кому и что доказал, почему и ты должен переносить... Глупая, я — в память мамы, но, если бы я знал заранее, я все равно бы так сделал... Ты слушай радио, Сонюшка, ты еще не знаешь, о чем в толпе говорят...

...«Когда жидов прикажет бить товарищ Сталин»...

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Восемнадцать с половиною лет назад, в августе 1934-го, Он решил убить Кирова.

До той поры он, член РВСР фронтов, случалось, утверждал приговоры военных трибуналов о расстрелах; после гражданской войны — по его, разумеется, указанию — проходили процессы вредителей, так называемое дело Промпартии, шахтинское дело; ликвидировали кулачество как класс, организовали массовый голод на Украине. И хотя при этом погибли миллионы — в основном, русских, украинских крестьян, они ведь умерли — погибли от холода, голода, болезней, но отнюдь не были убиты, говорил он себе. Могли умереть от тех же болячек в своем доме... Он тут был ни при чем...

Он быстро привык к насилию, без которого уже не мыслил свою неограниченную власть. Сперва он политически, а затем и физически уничтожал своих реальных противников — уничтожал не самоличными прямыми приказами, а через приговор суда, он заранее их, эти приговоры, санкционировал, пусть это была только видимость приговора, но все-таки приговор. Потом при- нялся за собственных, личных противников. Дальше на-

силне шло уже по инерции — некогда было разбираться, да и незачем, достаточно было подозрения, доноса, шепотка, намека, вскользь кем-то брошенного слова... Он ежедневно читал сводки: о количестве добытого угля и выплавленной стали, об уборке урожая и надоях молока, о грузообороте на транспорте и о выпуске самолетов, и наряду с ними списки тех, кого предполагалось лишить жизни, — на списках этих он ставил свою визу. Пройдоха Берия, то ли желая польстить, то ли намекая, что повязаны одной веревочкой, однажды сообщил наедине: подсчитал, что Он лично утвердил смертную казнь сорока тысячам человек. Он промолчал. Его это не интересовало — сорок, шестьдесят, сто тысяч. Те, кого Он знал, были истреблены давно, а после шли какие-то неведомые, отвлеченные, не имеющие человеческого лица, и даже если в списках попадалась знакомая фамилия, Он либо не замечал ее, либо на секунду только машинально фиксировал: этого вот помню, ах ты, сволочь...

Подписывал, конечно, не только Он, подписывали многие и многие, до самого низу, до начальника районного НКВД и секретаря сельского райкома, и если сперва в уничтожении была определенная система — та или иная оппозиция, военные, хозяйственные кадры, — то после, когда прошли открытые процессы, началась вакханалия арестов, ссылок, расстрелов, миллионы — не считанные, не учтенные — томились и умирали в лагерях, в тюрьмах, в следственных камерах, на этапах, это не касалось Его, не интересовало, не могло и не должно было, полагал Он, интересоваться. Единственный, кого вспоминал он, о ком думал иногда — был Киров, не сам по себе Сергей Миронович, а тот, кого Он самолично приказал убить. Но с годами затухали и эти воспоминания.

После, в тридцать девятом — сороковом наступило затишье, все или почти все, кому следовало, лежали в могилах или сидели за решетками, за колючей проволокой, убиты, уничтожены несколько десятков тысяч сотрудников НКВД — исполнители, возможные свидетели, власть Его стала безграничной и непоколебимой, теперь Он боялся не внутренних врагов, а Гитлера, заигрывал с ним, подкупал его, сговаривался, вслед за договором о ненападении заключил договор о дружбе, мечтал о том, что если удастся не просто избежать с ним войны, но вступить в настоящий, прочный союз — тогда мир

окажется в их, Его и Гитлера, крепких руках. Гитлер обманул, предал, напал, вынудил воевать...

Тогда Он приказал уничтожить в лагерях тех, кто мог бы в случае чего переметнуться на сторону фюрера, чья победа в 1941 году представлялась ему вполне вероятной, кто мог возглавить и новое, пускай марионеточное правительство... И тогда же, 28 августа, помня о гражданской войне в Испании, о «пятой колонне» внутренних врагов республики, Он единым махом выселил из Поволжья в Казахстан, ликвидировав автономию, всех советских немцев, около полумиллиона. То не была кара, лишь превентивная акция... Акция прошла легко, без сопротивления, и Он это запомнил...

Возможно, уже тогда Он подумал о евреях...

Ах, как Он сожалел о том, что эти выскочки, болтуны, краснобаи не жили на территории страны компактно, как он завидовал государствам, державшим их в черте оседлости, где их подобно крымским татарам или калмыкам можно было накрыть в считанные часы, дать возможность взять с собой только самое необходимое, оставив на месте дорогую мебель, ковры, рояли, ценности (в богатстве всех евреев он, подобно обывателям, не сомневался; правда, единственный из них, у кого Он был в доме, Каганович жил не шикарней прочих членов Политбюро)... Не сажать, а швырять их в грузовики, затыкать оружие глотки, гнать машины по проселкам, по ухабам, пусть летят через борта, под колеса идущих сзади, пусть корчатся в пыли, в снегу ли, пусть взывают к своему Иегове о помощи, о спасении — пусть взывают к Нему, Великому и Любимому товарищу Сталину, земному Богу, справедливому и милосердному, — ничто не поможет им, обреченным Его волей...

Но они жили по всей территории страны; и, чтобы депортировать их, требовалась подготовка. (Он — в который раз и по которому поводу — позавидовал Гитлеру: у того страна была куда меньше, со своими евреями он управился в краткий срок.)

Подготовка требовалась и другая: после революции антисемитизм как бы сам собой сошел на нет; немцы сумели разжечь его на оккупированной территории, однако на остальной части России он еле тлел; воевали евреи, как и все, как большинство — храбро, и Он вынужден был отмечать кого-то из них генеральскими погонами, Золотыми Звездами, ставить на руководящие посты в науке и промышленности...

И, взвесив все это, переведя дух после Победы, он в сорок шестом ударил по интеллигенции, слегка еще, только боком зацепив при этом евреев; два с половиной года были заполнены всевозможными дискуссиями, постановлениями, обсуждениями по проблемам науки, идеологии; все чаще и гуще упоминались в этой связи еврейские имена.

Впрямую по ним шарахнули 28 января 1949-го: «Правда» напечатала редакционную статью «Об одной антипатриотической группе театральных критиков»... Вот где подобрали их, один к одному, всяких шмулей да ициков, раскрыли литературные псевдонимы! И опять пошли собрания творческой интеллигенции, обсуждения, осуждения, одобрения, фельетоны, анекдоты, кличка «безродный космополит» — это все падало на благодатную, подготовленную Гитлером почву, искра разгорелась моментально: жидов начали бить не словами только, но и кулаками, пока что отдельных, в порядке личной инициативы, но лиха беда начало...

Однако, если не считать отдельных эксцессов (дали в морду, выкинули из электрички на полном ходу, запустили камнем в окошко, вытолкали из очереди), это было пока только слово.

Сегодня началось (только начиналось, но зато как!) — дел!

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Их везли поодиночке в обыкновенных легковых машинах, почему-то неизвестным маршрутом, слишком много поворотов, не понять, по каким гонят улицам, на глазах повязки, и каждый из восьмерых думал: может, все предыдущее было страшным лицедейством, вовсе не казнят, а отвезут в Бутырки, в Лефортово, объявят другой приговор, растреляют потом о гуманности нашего государства и лично товарища Сталина; обращение евреев охарактеризуют лишь как их личную инициативу, совершенно излишнюю и неразумную...

В праздничном убранстве улицы и площади столицы, молот Спортивный комментатор, глядя в текст, он вполне мог обойтись и без шпартгалки, но позади торчали двое вышколенных, в форме надзирателей, велено было не отклоняться от написанного ни единым словом... За стеклянными звуконепроницаемыми перебор-

ками, в таких же кабинах; справа и слева, расположились Детский писатель и Диктор, возле них такие же офицеры, один держит руку на тумблере, готовый в любое мгновение отключить трансляцию, а другой — с резиновой, на западный манер, полицейской дубинкой...

Комментатор привычно, с отработанным пафосом долдонил, мол, всегда молода дорогая моя Москва, она олицетворяет счастье и радость советских людей, торжественна и прекрасна в эти часы главная площадь страны, центр мира... и так далее...

Мама всегда была немного истерична, свойство это Соно раздражало. И сейчас мама (будто в своем местечке) на идише, понятном Соне — понимать понимала, говорить не умела, — мама проклинала и оплакивала: чтоб вы окаменели, чтоб вы остались мертвыми, когда остальные воскреснут, чтоб вы имели собачью смерть, чтоб и вашим детям никогда не видеть солнца — отплакав, отпричитав, отпроклинав, мама подошла к Соне, сказала спокойно, ровно: доченька, будем терпеть, все было, все было на этом свете, доченька, у тебя жизнь впереди, ты помни, бог все видит, и эти фашисты еще будут плакать...

Фашисты, подумала Соня, а ведь и в самом деле — фашисты, подумала она и тотчас испугалась: как она смела подумать о таком, она, комсомолка, дочь большевика с подпольным стажем, жена фронтовика, как я смела подумать, а что мне остается думать, если они в самом деле фашисты... Впрочем, мало ли что говорят, это может быть провокация, сплетня, ошибка... И до товарища Сталина наверняка дошло, он тотчас вмешается; еще не поздно отменить смертный приговор и, если в самом деле задумано, то и публичную казнь... Товарищ Сталин не допустит...

Он сидел в той позе, в какой любил фотографироваться во время редких встреч с главами государств и на официальных приемах: в низком кресле, расставив слегка ноги, свободно положив руки на подлокотники. Хорошо обкуренная донхилловская трубка не сразу гасла, она лежала на столике и вкусно дымила. Он изредка отхлебывал вина, кидал в рот дольку мандарина. Экран размером в сложенный пополам газетный лист голубовато мерцал, изображение не хуже, чем в кино. Жаль,

нельзя было к сегодняшнему дню обеспечить такими телевизорами простых советских людей — он так и подумал, привычным штампом, — жаль, что передающих камер еще мало и лишь три кадра попеременно возникали перед ним: Мавзолей, Лобное место, часть толпы... А с Кагановичем придумано — хорошо. Лазарь, конечно, дуб и хам, однако не настолько дуб, чтобы пожалеть своих и не думать о собственной участи... Это хорошо придумано вообще: основные звенья и участки мероприятия обеспечивают и выполняют они... То ли вам еще будет, подумал он и разжег погаснувшую-таки трубку.

«О Сталине мудром, родном и любимом, прекрасную песню слагает народ...»

В комнате, высокой и светлой, сотрясаемым дрожью, согбенным, одолеваемым нервической неостановимой икотой, им швырнули черные балахоны, кощунственно похожие на священнические подрясники, балахоны свежо поблескивали нестираным сатином, были приятны на ощупь, они отличались легкостью, радовали непохожестью на тюремные одежды, они приятно пахли; балахоны возбуждали почему-то стыд своей нелепостью и внушали непонятный ужас...

Разговаривать боялись и остерегались глядеть по сторонам, ибо каждый взгляд, брошенный в сторону, мог быть истолкован превратно, в этом безумном мире дважды два не четыре, однако, Ефим Лазаревич, вы не обратили внимания, вы поглядите-ка туда...

Полста, небрежно кинул Сергею таксист, на счетчике значилось тридцать восемь рублей, Сережка не стал спорить, бросил на сиденье последние две жеваные трехчервонные бумажки, взбежал по лестнице и еще на площадке услышал: «Белка, Белка, где же Гена?» Это походило на переключку фронтовых связистов, на позывные, вроде — «Елка, Елка, я Сосна», и Сережка не сразу понял, пока не узнал голос тещи...

Празднична и торжественна сегодня главная площадь столицы. В бликах рубиновых звезд, озаренных мартовским весенним солнцем, в развевающихся красных стягах — как бы отсветы костров Революции, под которыми... тарабанил Спортивный комментатор.

Их теперь — без повязок на глазах, но в наручниках — вели знакомыми светлыми коридорами, окна в сборчатых шелковых шторах, всюду на стенах картины, вдоль стен пуфики, под ногами ковровые дорожки, они шли коридорами Дома Союзов, где были не однажды... Наверное, их решили выводить именно отсюда, чтобы народ видел: здесь их судили... Они шли, как приказано, гуськом, в черных балахонах, и у каждого на груди болталась табличка с аккуратными буквами...

...давно понял, Николай Петрович, давно понял, это вы не сразу обратили внимание, а я в Сибири был при колчаковщине... Я там этого понавидался. Да нет, какая уж тут ошибка...

«Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек...»

...искры тех костров разлетались по стране, вспыхнули пламенем Великого Октября, в завоеваниях которого решающая роль принадлежит великому Ленину и его верному соратнику и любимому ученику товарищу Сталину, вещал Комментатор. Он сделал паузу, предусмотренную сценарием, и взамен текста репортажа раздельно, без привычной скороговорки произнес:

Паситесь, мирные народы!  
К чему рабаи дары свободы?  
Их должно резать или стричь.  
Наследство им, из года в годы —  
Ярмо с'гремужками, да бич... -

...будто катафалки, нет, может, не катафалки, а помосты, какая разница, все плывут они над толпой — представила воочию Соня Лифшиц...

...соседу, Диктору, было видно, как там щелкнули тумблером, вырубая микрофон, как Спортивного комментатора выдернули из кресла, поволокли, он пытался вырваться, его ударили резиновой дубинкой по затылку...

...цокали по Литейному, через Невский, по Загородному, к Семеновскому плацу, телеги-постаменты стучали колесами по обнаженной брусчатке, черные бала-



хоны, белые таблички на груди каждого: «Цареубийца»... Прощай, Андрюша, думала Софья Перовская...

...дали знак: начинай... Детский писатель тоже, конечно, видел, как из соседней кабины тащили оглушенного Комментатора... Писатель не раз вел отсюда, из боковой башенки Исторического музея, праздничные репортажи, он умел, все время глядя в окно, чтобы видеть заготовленный текст и действие, четко, внятно выговаривать в микрофон обкатанные, повторяемые из года в год слова. Сегодня слова застревали, не хотели вырываться наружу, он вынудил себя и, казалось, собственный голос он слышал со стороны, голос бодрый, театрально поставленный, Писатель плохо соображал, язык работал сам по себе...

Трибуны переполнены, вещал он, здесь старые большевики, герои труда и стахановцы, фронтовики, лучшие представители коллективов Подмосковья, доблестные советские воины. Беспредельно народное ликование. Слышите, как в разных концах площади раздаются мелодии маршей... Солнцем залита Красная площадь. Наступает волнующая тишина. Теперь вы слышите: катится вал аплодисментов, слышите, как от края до края площади прокатывается громовое «Ура!». Это москвичи приветствуют руководителей Коммунистической партии, Советского правительства. На центральную трибуну Мавзолея поднимаются члены Бюро Президиума Центрального Комитета. Среди них нет сейчас великого друга всего трудового человечества, товарища Сталина. В эти часы он, как и всегда, неустанно трудится во имя счастья советских людей. Но товарищ Сталин с нами, незримо он присутствует здесь, он в сердце каждого из нас, и каждый в эти минуты обращает к нему слова любви и благодарности... Слышите, над площадью на многих языках свободных и счастливых народов несутся приветствия в адрес гениального вождя! Слушайте Красную площадь! Говорит Москва!

Один из охранников, поставленных позади кресла, положил перед Писателем листок с текстом.

«Погляди: поет и пляшет вся Советская Страна! Нет тебя светлей и краше, наша Красная Москва! Кипучая, могучая...»

С главного командного пункта, расположенного во втором ярусе Спасской башни, по двум полевым рациям передали распоряжение, и тотчас, одновременно от Большого Москворецкого моста к храму Василия Блаженного и от Дома Союзов двинулись две колонны грузовиков: первая — с обычной уличной скоростью, а вторая — приторможенно, как на похоронах. Те, что шли к храму, остановились у его ограды, готовые к подстраховке, вторая колонна двигалась, огибая Исторический музей...

ЧЕРЕЗ ПОВЕШЕНИЕ... — прочитал Писатель в бумаге с новым текстом Правительственного сообщения.

Немедленно прекратите записывать, приказал Публицисту человек в штатском, уберите блокнот... Да, но я... Отлично знаю, кто вы, прекратите запись...

Восемь офицеров госбезопасности в спортивных темных куртках без погон заняли места на Лобном.

Трансляция шла только по московской радиосети, чтобы не возбуждать население страны и Запад, — всему свое время...

«Господи, сохрани мою кровь в моих детях, отними от меня, если пришел час, но сохрани их...» Кажется, Соня читала эти слова или мама говорила их раньше.

Рядом с руководителями партии и правительства, на центральной трибуне Мавзолея, вещал Детский писатель после того, как первым произнес во всеуслышание те невероятные (через повешение!) слова, — рядом, бок о бок с товарищем Кагановичем и товарищем Берией находится Лидия Тимашук, повествовал он, старательно нагнетая умиление, восхищение, восторг, — пламенная патриотка Великой Родины, представительница великого народа, о котором товарищ Сталин мудро сказал, что ему присущи стойкий характер, ясный ум, великое терпение... Тысячи, десятки, сотни тысяч писем получила эта скромная женщина — писем, полных благодарности и признательности за ее прозорливость, большевистскую бдительность, мужество, душевную чистоту; писем, полных благодарности и преклонения... Скромное имя, теперь известное каждому, навсегда золотыми буквами будет вписано в историю нашей Родины наряду с име-

нами других женщин, прославивших страну — героинь войны тысяча восемьсот двенадцатого года Надежды Дуровой и Василисы Кожиной, профессора-математика Софьи Ковалевской, знатных стахановок Паши Ангелиной, Дуси и Маруси Виноградовых, отважных летчиц Валентины Гризодубовой, Полины Осипенко, Марины Расковой, славных партизанок Великой Отечественной — Зои Космодемьянской и Лизы Чайкиной, бесстрашной железнодорожницы Зинаиды Тусноловой, которая, рискуя жизнью и лишившись обеих ног, предотвратила крушение поезда, организованное подлыми врагами... Славное имя Лидии Тимашук отныне стало символом мужества, благородства, самоотверженности... Слава ей, женщине-патриотке, женщине-матери!

...черном балахоне, с белой табличкой «Царевница» Соня взошла на дощатый помост, встала на трехногий табурет, куда лезешь поперек батьки в пекло, закричал подручный палача, Соня спустилась обратно на доски, они стояли — пятеро в ряд, но прежде чем стать на свое место, она поцеловала Андрея, потом и остальных, петли раскачивались над их головами... А палач Фролов поигрывал витым пояском, водил мощными плечами под красной рубахой. Рубаха была красная...

Красные флаги развеваются над Красной площадью, красными бантами украшены... барабанил Детский писатель и думал: может, все это спектакль, сейчас отменят, бывало же в минувшие времена — накидывали петли, и тут из-за угла выскакивал, дождавшись момента, гонец с изъявлением государевой милости...

Сквозь людской коридор — черный, вопящий, вздымающий кулаки — машины двигались колонной, медленно, торжественно, обреченно... Когда, вспомнилось Вершинину, в июле сорок четвертого он оказался в Москве, в командировке с фронта, вели по улице Горького многотысячную толпу немецких пленных, толпа на тротуарах молчала, ни единого выкрика, ни единого проклятия... А сейчас, будь их воля, растерзали бы, смяли, втоптали бы в асфальт... Милиционеры и солдаты, крепкие парни, ухватившись под руки, удерживали напор, и толпа бесновалась, орала, плевала, попадая слюной на самое же себя... Веревка резала грудь, придавливала к надежно укрепленному в кузове столбу,

ноги ватно опирались на подставку, сооруженную позади кабины, подставка возвышала над толпой, ветром покачивало дощечку на груди: «Врач-убийца»... Гремели, перекликаясь, репродукторы, голос в них казался Вершинину знакомым... Мартовское полуденное солнце пригревало по-весеннему, но тело сковывал холод...

Траурная проц... сказал Детский писатель в микрофон, тут же щелкнул тумблер, тотчас ударили дубинкой, голова откинулась, помутненным сознанием он уловил бархатный, густой, приятный голос Диктора из соседней кабины: позорная колонна приближается к Красной площади... Площадь замерла; гнев и ненависть переполняют...

Это же он, сказала в ужасе Соня, называя фамилию Диктора, и Сережка откликнулся: не надо, пожалей его, разве он виноват... Как он может, как он может, твердила Соня. Доченька, сказала мама, это не он, это они могут сделать с нами все... Зубы Сони стучали о край стакана...

А ведь сейчас их провезут мимо, совсем рядом, подумал Николай Петрович Холмогоров, и, вполне возможно, кто-то из них посмотрит в нашу сторону, кто-то увидит, узнает меня, как тут быть, кивнуть, сделать жест, отвернуться, опустить глаза, как тут быть, кто скажет...

...обложке «Крокодила» во всю страницу рисунок: двое в белых халатах и докторских шапочках, носы крючком, у одного под мышкой книга с крупной надписью «ЖИД». Очень смешно, куда там. И попробуй придраться: есть ведь такой французский писатель Андре Жид... Остроумные ребята ошиваются в журнале... Во времена дела Бейлиса и то самые махровые газетенки жидом открыто не обзывали... Фашисты, отчетливо подумал Ефим Лазаревич, коммунист-подпольщик, и огляделся невольно: вдруг он подумал в слух... А ведь стучачей тут наверняка добрая, точней, недобрая треть публики... Все равно — фашисты... Но даже Гитлер не казнил публично, разве только своих дезертиров на излете войны... И, начиная с Александра Третьего, не было в России публичных казней, последняя — казнь первомартовцев на Семеновском плацу в

восемьдесят первом году, Андрей Желябов, Софья Перовская, еще трое...

Больно, сказала Соня, когда заламывали руки назад, стягивали веревкой, и жандармский офицер сказал: потерпите, скоро будет еще больней, госпожа Перовская...

На минуту позорные машины останавливаются у Мавзолея, опущены глаза убийц, гневно читал Диктор из кабины в здании Исторического музея. Их глаза опущены, однако злобой дышит каждая клеточка их проклятых тел, и всеобщим презрением и ненавистью полны широко открытые глаза советских простых людей, заполнивших Красную площадь. И гордостью сияют честные очи Лидии Тимашук... Машины трогаются. Несколько минут отделяют нас от справедливого возмездия...

Неужели правда, неужели не останются, как после этого и нам жить, как жить...

Вершинин повернулся, посмотрел, и Холмогоров ответил сочувственно на его прощальный взгляд.

Зеленые рюкзаки у окна, у папиного стола, походили на гигантских раздутых лягушек. Мерзкие жабы у чистого родника, вспомнила Соня газетную фразу.

С подставок в грузовниках они оказались почти вровень с центральной трибуной Мавзолея, и, прежде чем машины тронулись после минутной остановки, тронулись к финишной черте, интеллигентнейший Меер Соломонович Мойся поглядел на нее в упор, внятно произнес площадное слово. Тимашук сделалось страшно.

Молодцы, думал Он, мы правильно воспитали свой народ, ни одного равнодушного лица, подлинный гнев и презрение трудящихся; завтра он посмотрит полнометражный цветной фильм, снимают пятьдесят операторов, на киностудии сдохнут, а сделают в указанный Им срок, а после Его одобрения моментально отпечатают тираж, и специальными рейсами самолеты доставят ленты во все республиканские и областные города, а после поезда, машины, резвые лошаденки развезут по районным центрам и деревням, и в течение всей недели страна

будет смотреть, страна будет митинговать, предавать позору и возносить хвалу Ему и Лаврушке, будет плевать в поганые морды евреев...

Боже мой, боже, думал коммунист Лифшиц, и древние слова молитвы, заученной давным-давно в еврейской школе, хедере, сами по себе всплыли в памяти, напроць, казалось, забытые, и он стал молиться, молиться молча, истово, убежденно, взывая к Богу, в которого не верил, взывая о милосердїи, моля о каре...

Толпа смолкла.

Она смолкла не потому, что последовал призыв к безмолвию, не потому, что оказалась охваченной жалостью или страхом, она смолкла без предварительного уговора, без просьб своих начальников, она смолкла, сама не понимая, отчего.

Толпа молчала. И далеко-далеко, над всей площадью, разнесся отчаянный, моментально оборванный крик — то ли женский, то ли детский, его слышно было повсюду — по радио...

Мрачным, молчаливым коридором, с невероятно стремительной медлительностью двигались грузовики — черные фигуры, белые таблички на груди каждого. И чекисты в куртках спортивного образца стояли на Лобном месте, ждали, вытянувшись по стойке «смирно». И такие же, как они, застыли в кузовах грузовиков, рядом с одежами в балахоны.

И, прежде чем сойти с подставки, уже ничем не рискуя, даже простой зуботычиной, тот из троих русских, что в отчаянии выкрикивал своим коллегам постыдные, унижительные для него самого слова и не желал теперь уйти навсегда опозоренным, сказал громко и внятно: простите меня, товарищи, если можете... И старший среди них, главный из обвиняемых, Вершинин, молча склонил голову, дав понять: мы услышали, мы поняли, мы простили...

Заиграл выстроенный напротив Мавзолея тысячетрубный оркестр, и в разных концах площади проинструментированные энтузиасты подхватили бодро: «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек.

Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек...»

Это еще что, думал Холмогоров, жалкий плагиат... Вот в Киеве в восемьсот семьдесят девятом, помнится, году, когда вешали революционера Валериана Осинского, по приказу прокурора Стрельникова оркестр спарил плясовую «Камаринскую»...

Сонина теплая рука лежала на окаменелом плече Сережки, и палач в красной рубахе завел назад подкованную ногу, взблеснули гвоздочки, палач ощерился, шархнул по табуретке, ярко, слепяще загорелась бомба, кинутая Игнатием Гриневицким в государя, бомба покрутилась, упала, разлетелась звездочками, ударила в глаза, ожгло шею, босая нога успела ощутить невероятный, нестерпимый холод; Софья Перовская с возвысья увидела не Семеновский плац, а Красную площадь, какую-то незнакомую, и Лобное место, восемь — почему восемь, когда нас пятеро? — виселиц, и диковинные машины, и людей в черных балахонах, это — мы, знала Соня, это — мы, и она витала над молчаливой необъятной площадью, а рядом говорил черный ящик, и мама Сони Лифшиц стояла со скрещенными руками на вялой груди, и, невидимый, громко по-дрезне-еврейски, будто покойный дедушка, раскачиваясь, читал молитву отец, большевик с подпольным стажем...

Грузовики развернулись, водители тренированно поставили машины — задние борта откинута — впритык к облицовке Лобного места, восьмерым приказали спуститься с подставок и протянули руки, чтобы помочь, никто из восьмерых не коснулся этих палаческих ладоней.

Они стояли в кузовах, у задних бортов, лицом к автомобильным кабинам, к Мавзолею... Как поразился бы Ильич, любил повторять по разным поводам товарищ Сталин...

— Товарищи, — сказал в микрофон член Бюро Президиума ЦК КПСС Лазарь Моисеевич Каганович, — нам выпала честь присутствовать при событии всемирно-исторического значения. Органы государственной безопасности, вдохновляемые Иосифом Виссарионовичем Сталиным, обезвредили еще одну гнусную шайку подлых изменников, шпионов, убийц...

...карающая рука...

...проклятым бандитам...

...весь советский народ...

...с особым чувством благодарности отозвались честные евреи...

...избавили евреев СССР от порабощения мировой сионистской организацией «Джойнт»...

«Славься, Отечество наше свободное, дружбы народов надежный оплот!..»

Сухая дробь барабанов.

Чекисты на Лобном месте у столбов с вытянутыми по-гусиному перекладинами отработанным, одновременным движением взяли за петли, протянули таким же курткам в кузовах. И таким же отлаженным, тренированным, синхронным движением те накинули петли на шею восьмерым.

Барабаны били. Молчала площадь. Молчало радио.

Повинуясь невидимому и неслышному знаку, машины одновременно, плавно, медленно тронулись. Колеса не сделали даже полного оборота, когда натянутые веревки запрокинули восьмерых назад.

И, как только тела закачались, подпрыгивая ногами, грузовики рванули, сделали четкий разворот, перестроились в колонну, помчали — мимо храма Василия Блаженного, к Большому Москворецкому мосту.

С трибуны Мавзолея крикнули: «Ура!»

Площадь молчала.

Соня окаменело сидела у него радиоприемника.

Посередине моста грузовик, что вез академика Вершинина, вырвался из колонны, капитан-водитель крутанул баранку влево, сидевший рядом дублер, соответственно проинструктированный и обученный, не успел ни вырвать из-за пазухи пистолет, ни перехватить руль. Тяжелая трехтонка проломил ограждение, пробила рыхловатый лед и без всплеска ушла под воду, на дно. Колонна не остановилась, только прибавила ход...

Циля Вулфовна Лифшиц для чего-то протерла тряпочкой радиоприемник и выключила его.

Сталин поднялся, разминая затекшие стариковские ноги, взял телефонную трубку.



— Молодец, — сказал он кратко.  
— Спасибо, спасибо, Коба. А что, и в самом деле хорошо сработали!  
— Не радуйся, — остудил он Берию. — Работа еще впереди...

## ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ, НЕЗАВЕРШЕННАЯ

Вдоль фасада Казанского вокзала столицы тянулся многометровый алый транспарант:

**Братский привет славным представителям  
еврейской интеллигенции, головной колонне  
армии покорителей Восточной Сибири!**

Громыхал оркестр. К главному подъезду подкатывали «Победы», даже «ЗИСы», и впервые люди видели столько лиц, знакомых по газетам, по экрану, по еще немногочисленным телевизорам, впервые видели столько знаменитостей разом — артисты, писатели, военные, ученые; и сколько Золотых Звезд на распахнутых повесеннему пальто, сколько лауреатских знаков Сталинской премии, сколько наградных ленточек... Ты глянь, оказывается, и этот — из них! Вот ушлый народ, куда только не пролезут!

Был здесь и Главный режиссер, ему, как и Диктору, тоже энтузиасту-новоселу, вручили орден Трудового Красного Знамени, посулили при очередном присуждении дать Сталинскую премию первой степени.

Среди патриотов был и безногий Арон Лейбович Рухимович, приговоренный на вечное поселение в Караганду, неведомо для чего доставленный на Лубянку, там у него отобрали протезы и очки, однако не избивали и не допрашивали. Он вконец растерялся, когда в канун того дня, когда поезд отправился на Восток, его прямо из камеры пригласил какой-то лубянский полковник, сердечно за что-то благодарил, а часом позже в камеру принесли отличные протезы и превосходные очки, еще выдали дорогой костюм, отменно покормили; сейчас его на легковой машине привезли на вокзал, по дороге объяснив, что ему доверено быть в числе патриотов-энтузиастов.

Среди тех, кто сейчас отправлялся, не было инициаторов, подписавших Обращение: в награду за сознатель-

ность их не тронули, так — объяснили им — распорядился товарищ Сталин. Что их ждет через два-три дня — они предполагать не могли.

В эти дни в Москве стало меньше (не считая умерших) одним коммунистом и больше (не принимая в расчет новорожденных) одним евреем: исконно русского доктора медицины, полковника запаса Николая Петровича Холмогорова спешным порядком исключили из партии, лишили орденов и воинского звания, столь же оперативно выдали новый паспорт на имя Бергмана Колмана Пинкусовича. При этом отметили подлинный советский патриотизм, включили в число пассажиров первого, почетного эшелона, пожелали дальнейших успехов в трудовой и научной деятельности.

Завершив эти дела, Николай Петрович на Ново-Рязанской распрощался с сыном и Лифшицами, приезжать на вокзал, провожать его запретил категорически.

Сплошным людским коридором — с женами, детьми, внуками, сопровождаемые носильщиками, стараясь не озираться, скрывались в распахнутых дверях главного входа, проходили сквозь почти пустой зал ожидания. На перроне тоже гремел оркестр и кричал кумач транспарантов.

Состав ждал на первой платформе, он был из одних только спальных, называемых международными вагонов, покрашенных для такого случая в яркий красный цвет. И, специально изготовленные, белели на вагонах таблички с черными буквами «Москва — Биробиджан. Экспресс особого назначения». Корректные офицеры госбезопасности в железнодорожной форме вручали букетики первых фиалок, обращаясь к главе семьи по имени-отчеству и называя номера купе.

Вагоны были еще дореволюционные, вагоны первого класса, их и отобрали, тщательно отремонтировали, обновили, двери сверкали полировкой, надраенной медью ручек, инкрустацией; мягкая ковровая дорожка глушила шаги; в купе горели — чтобы видна была исправность каждой — все лампочки; новехонькое белье пахло хорошим одеколоном; в открытых напоказ шкафчиках-барах каждого купе поблескивали бутылки с разноцветными наклейками; на столиках — коробки дорогих конфет; в тисненых ледериновых корочках памятки пассажиру —

расписание движения, перечень услуг (душ и туалет на два соседствующих купе; имеются два вагона-ресторана, работают круглосуточно, прилагается меню; если уважаемые пассажиры пожелают, можно через проводника пригласить к себе официанта; работает клуб-вагон; телеграммы принимаются проводником и передаются по радио немедленно; свежие газеты получают на станциях не позже десяти утра и разносят по купе).

Вокзальная радиостанция огласила: просьба к уважаемым пассажирам выйти на перрон.

Там с временной трибуны дорогих новоселов тепло приветствовал председатель исполкома Совета Еврейской автономной области; шустрые мальчуганы и девчурки раздавали — в дополнение к тем, что вручили проводники — яркие букеты; звучали напутствия — еврей, русский, почему-то представитель солнечного Узбекистана; наяривал оркестр, напоследок он исполнил развеселый, разудалый «Фрейлехс», и курносенькие белобрысые девчата, в сарафанах, лихо отплясали на платформе.

И, сопровождаемый музыкой, вымученными улыбками, ухмылками, молчаливыми слезами, экспресс особого назначения тронулся в дальний путь, рассчитанный на четверо суток вместо обычных семи.

В новеньком, пахнущем сосною, благоустроенном поселке севернее Биробиджана заключенных-строителей, коим обещана была амнистия и высокие награды особо отличившимся, утром, до завтрака, отвели на просеку за три километра, выстроили в одну шеренгу и уложили длинными пулеметными очередями. Тех, кто находился в санчасти и не мог подняться, кокнули прямо на койках, из пистолетов.

В их числе был и доктор Дмитрий Дмитриевич Плетнев.

Оставили сотню человек, они похоронили в ямах, глубоко вырытых аммоналовыми шашками, своих товарищей-зэков, а в последнюю яму, поставив их на краю, спихнули могильщиков, тоже, понятно, расстрелянных. Зарывать последних пришлось охранникам, коих вскорости ждала та же судьба — специальный взвод должен был прибыть с часу на час.

Еще двадцать поселков такого же типа были разбросаны по глухим местам территории Хабаровского

края, Амурской области и Якутской АССР. Они были предназначены для евреев из Москвы. Судьбу остальных предполагалось решить иначе.

Если первый эшелон организовали, в общем-то, легко — пассажиров заранее тщательно отобрали, объявили им об отъезде, дали возможность подготовиться, — то с решением проблемы в целом сперва возникли некоторые затруднения и неясности, а чисто организационная работа потребовала значительно больших усилий.

Заминка вышла с методикой подсчета и численностью выселяемых. Нашлись, однако, смекалистые и усердные головы, предложили простой вариант — взять за образец гитлеровский постулат: любой полукровка причисляется к евреям; муж или жена нееврейской национальности вольны сами сделать выбор — следовать за своей половиной либо отречься и, следовательно, остаться. Предполагалось, что большинство — останется, и число их при планировании перевозок не следует принимать в расчет.

Данные, старательно уточненные при активной помощи стукачей — они имелись в каждом подъезде, гласили: в Москве по состоянию на 24.00 10 марта проживает, включая полукровок, 211.492 еврея, что составляет 67.856 семейств. За вычетом особо тяжело больных, не подлежащих перевозке ввиду близкой смерти, а также другой естественной убыли (например, самоубийств, побегов за пределы столицы, приобретения в милиции за крупную взятку фальшивых документов) предельную цифру определили в двести тысяч (в пути также предусматривалась смертность, особенно младенцев).

Во избежание утечки с полуночи 12 марта при посадке в самолеты, поезда дальнего следования, электрички, пригородные автобусы и даже в малочисленном личном транспорте вводилась поголовная проверка паспортов, предписывалось задерживать всех евреев, а также и подозрительных.

Руководство Московской железной дороги получило распоряжение: на запасных путях, прилегающих ко всем вокзалам столицы — Казанскому, Ленинградскому, Ярославскому, Белорусскому, Киевскому, Павелецкому, Савеловскому, Рижскому, — сосредоточить подвижной состав общим числом в пять тысяч товарных вагонов, переоборудованных в теплушки армейского образца, из расчета сорок человек на вагон. После загрузки пасса-

жирами предписывалось вывести поезда на Окружную дорогу, откуда с интервалом в десять минут отправлять на Казань, где начальники эшелонов (из воинской охраны) должны были получить указания о дальнейших маршрутах следования.

Сто десять тысяч — по двое на каждую еврейскую квартиру — сотрудников МГБ и наиболее проверенных кадров милиции (частично пришлось вызвать с периферии) проходили инструктажи в районных отделах госбезопасности.

Операция под кодовым названием «Восток» начиналась в два часа ночи 14 марта; на сборы добровольцам отводилось по часу; к оказывающим сопротивление применялись меры принуждения, включая срочно изготовленные наручники; транспортом для доставки на вокзалы обеспечивали предприятия и учреждения по особому списку. Отправка поездов на Окружную дорогу с вокзалов начиналась в 5.00 14 марта. Митинги на вокзалах не предусматривались.

Сохранить в абсолютной тайне предстоящую депортацию московских евреев не могли: и потому, что опубликовали Обращение, и потому, что отправление первого эшелона широко и мощно афишировали, и потому, что слишком большое количество людей, пускай проверенных и надежных, но все-таки людей с обычными слабостями оказались включенными в подготовку мероприятия, призванного впервые в истории человечества болезненно (на добровольной основе!) решить от веку мучительно неразрешимый еврейский вопрос, заодно тем самым дополнительно укрепив нерушимо крепкое морально-политическое единство советского общества и дружбу народов СССР.

Равнодушная продавщица хозларька на Бауманском, в просторечии Немецком рынке Москвы запомнила старого еврея, он сделал необычную для таких людей покупку — тяжеленный деревенский топор-колун.

Брат Сони, бывший фронтовик Генрих с женой Изабеллой, она же, по-семейному, Белка, привезли к родителям на Ново-Рязанскую свои рюкзаки: вторую ночь им стелили на полу в комнате Сони и Сергея; но в квартире Лифшицев, как и в пятидесяти четырех тысячах еврейских жилищ Москвы, почти не спали. Ефим Лаза-

ревич объявил своим: все порублю, всё, ничего не оставлю, а уж диван и пианино — в первую очередь... И — маленький, шупленький, лысый — воинственно замахнулся купленным на рынке колуном, демонстрируя решимость и силу... Диван был клеенчатый, облезлый до седины, морщинистый, с ребристыми пружинами, а пианино, купленное в комиссионке, когда Гену в третьем классе вздумали учить музыке, стоило сейчас не больше, чем доски и лом того же веса, но Ефиму Лазаревичу оно представлялось вещью дорогой и, кроме того, неким символом домашнего благополучия.

Соседка Галя Бугоркова перестала браниться, она постучалась, заглянула, предложила помощь в сборах, зыркнула глазами — многим не поживиться: пусто в комнатах, успели все продать и собрать, ишь, мешки набиты какие. И снова, и снова прикинула, как она расставит мебель в двух комнатах, освобождавшихся после этих Лифшицев. В том, что комнаты отдадут им, Галя Бугоркова не сомневалась.

В ночь на 12 марта в результате кровоизлияния в мозг на почве гипертонической болезни и атеросклероза, при явлениях острой сердечно-сосудистой недостаточности, на семьдесят четвертом году жизни, более чем на пятнадцать лет раньше им для себя установленного срока, скончался Председатель Совета Министров Союза ССР и Секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин.

Прямо возле не окоченелого еще тела члены Бюро Президиума ЦК КПСС решили: о смерти вождя не сообщать, пока не подготовят необходимые документы, прежде всего — о распределении постов в партийном и государственном руководстве.

Охрану и службу в кремлевской квартире и на кунцевской даче, а также врачей, телефонисток, водителей машин — немедленно (но с комфортом) изолировали, чтобы новость не просочилась.

Естественно, об экспрессе особого назначения «Москва — Биробиджан» в суматохе никто не вспомнил: до того ли было вождям, делвшим портфели, дерущимся за власть.

И поезд, составленный из уютных спальных вагонов,

следовал своим маршрутом, задерживаясь только на узловых станциях. Там проходили митинги, там гремели оркестры, там пассажиры — на перронах — беседовали друг с другом. Остальное время они проводили, закрывшись в своих купе. Вагоны-рестораны и вагон-клуб пуствовали. Официантов почти не тревожили вызовами.

Когда торг в Кремле закончился, в 1.00 14 марта районные отделы МГБ столицы получили экстренную телефонограмму с Лубянки: операция под кодовым названием «Восток» отменяется. На вокзалы передали распоряжение: приготовленные эшелоны — расформировать незамедлительно, подвижной состав использовать по плану перевозок.

Тут кто-то сказал и об экспрессе «Москва — Биробиджан», хотели было передать приказ о его возвращении, однако сообразили: поздно... Ну и ладно, поздно так поздно, тут вон какие события.

В 2.00 по московскому времени 14 марта красный экспресс особого назначения, двигаясь строго по установленному для него графику, не сбавляя хода, проследовал через станцию Слюдянка, миновал разъезд Крутой, где машинисту посигналили, что путь свободен, и на прежней скорости промчался дальше.

В 2.02 поезд с налету выскочил на отрезок пути, разрушенный гебистами, рухнул под откос и почти мгновенно сгорел, поскольку был для пушей надежности начинен в багажниках под полом вагонов канистрами с бензином.

Тщательно проведенное следствие пришло к заключению, что разрушение пути было осуществлено неизвестными лицами. За преступную халатность и потерю бдительности были расстреляны двое путевых обходчиков с разъезда Крутой (на самом деле офицеры МГБ) — они-то и организовали катастрофу.

Отменили публикацию заготовленного Заявления ТАСС о том, что в два часа ночи четырнадцатого марта 1953 года в районе станции Слюдянка еврейские националисты, агенты сионистской организации «Джойнт» совершили террористический акт, пустив под откос специальный поезд, в котором их соплеменники-патриоты, лучшие сыны и дочери еврейского народа, следовали первыми на освоение богатств Сибири.

Это заявление намечено было передать по Всесоюзному радио утром 14 марта, вслед за чем предполагалось хорошо продуманное стихийное возникновение еврейских погромов по всей территории страны, погромов, что привели бы к полному уничтожению евреев в СССР.

Вместо Заявления ТАСС утром по московской радиотрансляционной сети передали сообщение: исполком Моссовета уполномочен заявить, что на основании распоряжения правительства прием заявлений от граждан еврейской национальности, желающих выехать в Сибирь и на Дальний Восток, прекращен. Население просят не верить всякого рода слухам, распространяемым по этому вопросу.

Родственникам погибших пассажиров экспресса персонально выразили письменное соболезнование. Получил его и Сергей Холмогоров.

Пятнадцатого марта, после того как окончательно завершилась волчья грызня за лакомую кость власти, последовало высокое сообщение...

«Перестало биться сердце соратника и генерального продолжателя дела Ленина, мудрого вождя и учителя Коммунистической партии и советского народа...»

Берия стал первым заместителем Председателя Совета Министров СССР. Он был первейшим, ибо назван был в начале списка четверых первых заместителей (кроме него — В. М. Молотов, Н. А. Булганин, Л. М. Каганович). Возглавил правительство Г. М. Маленков. Партию — вроде бы пока еще не официально Н. С. Хрущев. Ну это ненадолго, думал Берия, спета ваша песенка...

Он ошибся — дальновидный, осторожный и жестокий Лаврентий.

Страна погрузилась в траур.

Драгоценное пианино и диван в квартире Лифшицев благополучно стояли нетронутыми на своих местах.

К великому огорчению Гали Бугорковой, соседей не выселили, квартира ей не досталась.

И вообще еврейский вопрос оказался так и не решенным...



## ПРОЛОГ

### I

В начальный день весны, день Святыя Евдокии, воскресенье, 1 марта 1881 года от Рождества Христова, пробыв на престоле двадцать шесть лет и десять дней, посвятив первые часы сего дня отдохновения — делам государственным, проезжая в карете по набережной Екатерининского канала града Святого Петра, не дожив полутора месяцев до своего шестидесятитрехлетия, скончался мученической смертью от злодейской руки, бросившей разрывной метательный снаряд, Государь Император Всероссийский Александр Второй...

Четырнадцатый по счету правитель из династии Романовых — за ним последовали еще всего лишь двое, сын его и внук, — он, как гласила официозная печать, «свято и мужественно делавший возложенное на Него судьбою дело — строения и возвышения громадной монархии, возбуждавший восторг истинных патриотов и удивление просвещенных людей целого мира, встретил и яростных недоброжелателей... С безумием и яростью какие-то неведомые враги, преследовавшие никому не понятные цели, организаторы-разрушители создали ряд покушений на Государя»... Покушений на Царя-Освободителя, отменившего крепостное право, было семь, и лишь восьмое увенчалось успехом.

Метатель снаряда, мелкопоместный польский шляхтич, от роду двадцати шести лет, Игнатий Иоахимович Гриневицкий, смертельно раненный тем же взрывом, скончался несколькими часами позже, не открыв властям предержавшим своего имени.

26 марта, в четверг, перед Особым присутствием Правительствующего Сената, высшим политическим судом России — председательствовал сорокасемилетний сенатор Эдуард Яковлевич Фукс — предстали шестеро злодеев, старшему было двадцать девять, а младшему

девятнадцать лет от роду. Лишь одна имела вероисповедание иудейское, все прочие — православные. И, кроме дворянки и сына священника, остальные относились к сословию крестьянскому и мещанскому.

В ночь с воскресенья на понедельник, с 29 на 30 марта всем шестерым объявили приговор — смертная казнь через повешение. Одной из осужденных — еврейке Гесе Гельфман, прямого участия в царевубийстве не принимавшей (она была всего лишь хозяйкою конспиративной квартиры) — исполнение казни отсрочили до разрешения от бремени: она оказалась, по медицинскому обследованию, тяжелой по четвертому месяцу; она умерла в тюремной больнице вскоре после родов; ребенок ее, то ли девочка, то ли мальчик, по-разному толкуют историки, сгинул безвестно.

Из газет:

«3 апреля, в 9 часов подвергнуты смертной казни через повешение государственные преступники: дворянка Софья Перовская, сын священника Николай Кибальчич, мещанин Николай Рысаков, крестьяне Андрей Желябов и Тимофей Михайлов».

2

София Перовская сызмала нужды не знала — из потомков знаменитых графов Разумовских, племянница «полного» генерала, дочь Псковского, а затем и Санкт-Петербургского губернатора... Она ушла в народ и хлебнула лиха... Радостью ее жизни был Андрюша Желябов, веселый, умница, общий любимец. Андрюша, его восторженное перед нею преклонение, общая их вера в Идею, в Правду — возвышали Софию, даровали силу и мужество...

Перед смертью, за трое суток, из Петропавловки всех перевезли в Дом предварительного заключения, на Шпалерной, после мрачной крепости он казался почти удобным. Дали Библию, в утешение и приготовление к смерти, и София, давно в Боге разуверившаяся, думая об Андрюше, принялась читать Песнь Песней царя Соломона... И девочка Суламифь из этой Книги сейчас была Софии Перовской нужнее и понятнее всех...

«Да лобзает он меня лобзанием уст своих! Ибо ласки твои лучше вина. О, ты прекрасен, возлюбленный

мой... Встретили нас стражи, обходящие город: не види ли вы того, которого любит душа моя?.. Отвори мне, сестрица моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя!»...

И странно, та еврейская девочка Суламифь, что жила — или не жила? — много-много веков назад, была близка ей и понятна, и она, Суламифь, жила в Соне, в Софье, и вспомнилось вдруг: Суламифь — значит мирная, а Софья — мудрая; а Мудрости, как и Мирру, испокон веку тяжелее всего доводилось на Божием свете...

И когда везли от Дома предварительного заключения к Семеновскому плацу, возле Владимирской церкви какая-то женщина плюнула, норовя попасть в лицо, и еще плюнула гнусным словом жидовка, плевок не долетел до высокой смертной колесницы, а слово достигло, оно сильнее! И Соня, в Бога не веруя, подумала: да простит тебя Бог в неведении твоём, в неразумии твоём...

А елецкий, Орловской губернии мещанин Николай Вершинин, что прибыл в Питер по торговым своим делишкам, он год спустя произведет к жизни сына, ведать не ведая, что стать тому знаменитым лекарем, генералом и убийцем тоже, молвил той бабе укоризненно: креста на тебе нет, людей на казнь везут, и несть ни элина, ни иудея на земли, а перед лицом Божиим наипаче...

И, рядом по случаю здесь оказавшись, молча благословил мученицу Софию заезжий местечковый еврей Лазарь Лифшиц — где было и ему знать, какие муки выпадут внучке, Суламифи, что родится у сына его, Ефима, в году 1925, по иудейскому же, от сотворения мира, исчислению — в 5686.

...Они, жида да нигилисты, горбатые все, рога торчат, копыта постукивают, не то черти, не то анчутки,

всех бы руками заживо передавить, погань татарскую... Ехал надѣжа Государь вдоль Екатерининского канала, а он как выскочит из-под земли, сам черный, носище крючком, росту аршина в четыре, да как жажнул бонбой. А бонба-то, ровно пузырь надутый, взлетела кверху, покружила-покружила, да и пала, его же, убивца, и поразила. Тут другой, косматый, весь в шерсти, на коленках к Государю-батюшке подполз, а когда Его Величество благословить изволил нечестивца, он ножиком, ножиком — в самое сердечко государя-то милостивца... Жи ды, одним словом сказать...

«В некотором царстве, в некотором государстве жили-были евреи — обыкновенные евреи для погромов, для оклеветания и прочих государственных надобностей». — Максим Горький. Русские сказки. 1912, 1917 гг.

3

Того же 1881 года, апреля пятнадцатого дня, в среду, на пятую седмицу Великого поста, в Херсонской губернии уездном городе Елизаветграде, числом жителей немалом, до шестидесяти тысяч, произошел случай вполне пустяковый, какие бывают в любом доме и внимания не достойны.

На городской окраине — то ли предместье, то ли местечко — в придорожном шинке (владел им еврей лет пятидесяти, все его звали Шмуль, но откликался и на Лейбу, и на Мойшу), в шинке этом, где в непрочном мире-согласии предавались веселью кацапы вкупе с хохлами, городская гольтьба, где подале от храмов Господних, поелику постом Великим принимать недостойно, набилась прорва выпивох. Шмуль-Лейба-Мойша-или-как-там-его-еще распутству гоев не препятствовал, хотя втайне и жалел за богохульство, но денежки ему в великопостные дни валили тройные, и ему бы, жиду Мойше, по мелочи не скаредничать, но, известно, аппетит приходит, когда вкушаешь пищу, и Шмуль-Лейба-Мойша не устоял перед грошовым соблазном.

Известно, что на Руси в каждой деревне свой дурачок, в любом городе — свой сумасшедший. Был таковой и здесь, в предместье на окраине Елизаветграда. Он-то и стал виновником беды.

Когда юродивый этот исхитрился вдрызг расколотить чарку литого бутылочного стекла — гривенник за дюжину цена! — шинкарю смолчать бы, а он, пархатый, с блажененького копеечку требовал. Глумленья над православным гости Шмуля в подпитии немалом стерпеть не могли, врезали от широкого сердца по жидовской харе и, войдя во вкус, отволтузили сапожищами под дых, повыдергали пейсы, башкою шмякнули о прилавок; вытащили на правёж и Сару, нестарую еще, хотели с нею побаловаться гуртом, но предпочли дочку, еще беститешную; распили задарма все, что в шинке имелось, и, понатешившись, выволокли в залу жидовские бебехи, ливанули нескучно из ламп, шинок взялся пламенем радостно и готовно, соломенная крыша, сухой плетень — ах как пылало, на тыщу верст видать! И головешки летели вразносторонь.

Трое шмулей в том костре и сгнули, головешки летали, что галки, кого-то Господь надоумил: хватай огонек, на разжиг время не трать!

Жидов в Елизаветграде водилось тыщ пятнадцать, как вши в кафтане, всех не перечесть, и хоть здешние жиды сами по себе тихие были, смиренные, разве что занимались торговлишкой, объегоривали православных да еще курочек трескали, и Государя-Освободителя тутошние шмули убивать никак не могли за дальностью расстояния хотя бы, однако ведь и хние батюшкучаря ухайдакали, однако ведь по всей России пили они, хриstopродавцы, православную кровушку, да и нового Государя указ, слышать, был, чтобы всю иудину кровь наружу выпустить за убиенного Императора Александра Второго...

И — пошло!

4

Пятерых везли — удавить.

Толпа всегда охоча до зрелищ, будь то кулачный, порой до смертного исхода бой, будь то петушьи схватки, игрища скоморохов, медвежья травля, писк кукольного Петрушки, лошадиные скачки, барская, на вольном воздухе комедь, тараканья бега, собачья свара, бабья драка с выдираньем волос, — словом, все, что придется, ну, а уж смертная казнь — тем более: тут оно и божественно (своими глазами узришь, как на тот свет люди отбывают), и на судороги понаглядишься,

и порадуешься, поскольку ты живой, а он — представляется.

Толпа стояла коридором — любопытствующим, сладострастным, то ли деланно равнодушным (мы-де повидали и не такое!), то ли ошеломленным, то ли напуганным; коридором покорным и подлым, жалеющим (правда, в малом числе)... Она стояла, толпа, а их, царевивцев, везли на высоких черных колесницах, везли, поднятыми над толпой...

Она пёрла по улочкам елизаветградского предместья, дикая, черная толпа, она размахивала головешками, выдергивала колья из плетней, хватала половинки кирпича, она материлась, ржала, реготала, и навстречу выбежал из собственного дома, наскоро запахивая рясу, вздымая наперсный крест, священник, он стал поперек, он стоял один, со взнятым крестом, и толпа остановилась перед ним.

Опамтуйтесь, православные, именем Божиим заклинаю, молил он, да не будет пролита кровь безвинных, все мы — братья, Христовым именем прошу, молил он.

И передние кинулись на колени, в грязь, в назём, и один, постарше и потрезвей, тоже стал молить слезно: батюшка, отойди отсюда, не твое здесь место, а мы ничего с собой поделывать не можем, хоть казнить нас будут, а кишки им выпустим, нет удержу, нету сил, поди, батюшка, отсюда, нам при тебе неместно...

И толпа обтекала священника, он остался посреди улицы, все вздымая бесполезно крест и плача...

И кто-то взхлебышки, криком рассказывал — в который уж раз это слышали: дескать, цырульник правил новому государю, Александру Третьему, бороду, и руки у него затряслись; отчего у тебя руки ходуном ходят, спросил Государь; а жида одолели, Ваше величество; так и бейте их, вот вам мой указ, повелел царь-батюшка...

Неведомым путем за какие-то минуты весть о том, что началось, донеслась до местечка в другой стороне Елизаветграда, и со всех сторон бежали к станковому приставу: ваше высокое благородие, дозвольте грамотку поглядеть, по которой жидов бить велено, да поскорее, вашбродь, а то не остаться бы нам в ответе, что

припоздали волю Государеву исполнить: вон тамотко, в уезде, и а ч а л и!

От них разило сивухой, потной прелью, сапогами, портянками, луком, верноподданничеством, селедкой, ненавистью, чесночной ливерной колбасой, гнилым; век не чищенными зубами, дерьмом и кровью. Они то выступали грозно, уверенно, то метались, шарахались, они волокли дреколья, тащили камень и головешки, они пели «...царя храни» и «Воскреснет Господь и расточатся врази Его», и охальную «Семеновну»... Они выступали, шествовали, неслись по улицам, и никогда еще ни город Елизаветград после нашествия в 1769 году крымского окаянного хана Керим-Гирея не ведал такого ужаса, ни сам он, ни окрестности его...

...воплъ, единый и отчаянный; над хибарками, влёт — жалкие, истертые перья из вспоротых перин; по мостовой, по грунтовой ли кислой дороге, по секущему, терзающему битому стеклу — полураздетых, вовсе голых, избитых, изнасилованных; из второго этажа выталкивали в узкое окошко клеенчатый, весь в белёсых трещинах, с ребристыми пружинами диван и жалкое, раздрыганное фортепьяно; пахло паленым волосом — подожгли седую бороду; гогоча, таскали за пейсы раввина, повсеместно неприкосновенного священнослужителя, почему ж это неприкосновенного, ежели он — пархатый...

...ворвутся ненароком, повалят, примутся топтать сапогами, услышишь, как захрустят твои ребра, захлебнешься собственной кровью, в глазах делается темно, погаснет все, что есть вокруг тебя, а они пойдут дальше, не разбирая, кто где, и значит — святые иконы с божницы моментом снять, в окошко выставить, на крыльцо с иконою выйти, дрожа — православные мы, православные, не троньте нас, господа милосердные...

5

Толпа молчала.

Свежий помост издавал приятный сосновый запах, и пять свежих, приятно пахнущих сосною гробов белели ввызу; а петель было — шесть, почему шесть, подумала Соня и поняла: шестая — для Геси Гельфман, для неё

шестая петля, символически, поскольку Гесе отложена казнь, отсрочена...

Отстегнули крутые ремни, велели сойти с колесниц, ноги затекли, не слушались, и Соню качнуло, Михайлов с Кибальчицем поддержали с двух сторон, Андриюша Желябов стоял рядом с предателем Рысаковым, того явно мutilовало...

Ступеньками — вверх, на помост.

Палач в красной рубахе, широченные плечи под нею перекатываются мышцами.

В ряд: Михайлов, Кибальчич, она, Желябов, Рысаков.

Андриюша — рядом, рядом... И кажется — через арестантский армяк его, Андриюши, родное тепло...

Она подумала: меньше чем через пять месяцев ей исполнится двадцать восемь лет... Не исполнится... Андриюше будет тридцать... Не будет.

Вышибли табуретку из-под Кибальчича. Городовой — он стоял у помоста — сказал назидательно и громко:

— А, задрыгал ногами? Дрыгай-дрыгай, в другой раз не станешь на Государя...

Толпа молчала, готовая взорваться.

Последнее, что услышала Соня: ж — и — д — ы — ы!

И, воспарив, последнее, что увидела, странный, весь какой-то прямоугольный, красного кирпича дом, и в нем девочку, неведомо почему закаменелую возле непонятного ящика, откуда неслись звуки человеческой речи...

## 6

Со среды до пятницы, до семнадцатого апреля, били жидов в уездном Елизаветграде, из пятнадцати тысяч уцелели немногие.

И в субботу, в шáббат, что по-еврейски означает покой, те, что милостию Бога остались в живых и неискалеченных, нарушили древнюю заповедь:

«День седьмой, суббота, Господу Богу твоему: не делай в оный никакой работы ни ты, ни сын твой, ни раб твой, ни дочь твоя, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих...»

В день оный, в субботу восемнадцатого апреля года 1881 от Рождества Христова, по исчислению же иудейскому в год 5643-й, елизаветградские уцелевшие евреи откапывали в развалинах останки погибших; рылись в пепле, извлекая оттуда обгорелые тела; в увечных пыта-



лись вдохнуть жизнь; и кара небесная не грозила им за нарушение Закона Моисеева, что запрещает в шаббат делать любую работу. Нет, не грозила, ибо не предвидел пророк Моисей, сколь ужасны будут муки дальних-дальних потомков его...

Вослед за Елизаветградом били жидов в Ростове, Одессе, Киеве...

Потом наступил антракт...

Зато в 1905 году, после царского манифеста о свободе, громили свободно евреев в шестидесяти четырех городах и шестистах двадцати местечках... Зато в годы гражданской войны на Украине убили двести тысяч евреев и там же искалечили около миллиона...

А после, в тридцатых, в конце сороковых, начале пятидесятых — скольких перебили, пересажали, скольких сломали навсегда и непоправимо...

«Бей жидов, спасай Россию!»

Правда, один умный человек сказал:

— И жидов не перебьешь, и Россию не спасешь...

1983, зима 1984/85,  
январь 1987